



Диаспора
VII
НОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Athenaeum – Феникс
Париж – Санкт-Петербург

2005

В.Я.Парнах
ПАНСИОН МОБЕР
Воспоминания

Вступительная статья П.Нерлера
Публикация и комментарии П.Нерлера и А.Парнаха
Подготовка текста П.Нерлера, Н.Поболя и О.Шамфаровой

...В Петербурге я давно привык жить, как тень. Я жил, как тень, и здесь в Париже. Далеко от русских, и от евреев, от всего мира. Иногда я жил так, как будто уже умер.

В.Парнах. Пансион Мобер

Он носил дедушкину визитку и кашне – другого у него ничего не было. Рыжеватенький, весь покрыт веснушками... Лицо у него было тонкое и вдохновенное.

Из воспоминаний Е.М.Фрадкиной¹

Господи! Не сделай меня похожим на Парнока!..

О.Мандельштам. Египетская марка

Валентин Яковлевич Парнох родился 15(27) июля 1891 в Таганроге в еврейской, но вполне обрусевшей семье. Его отец, аптекарь и врач Яков Соломонович Парнух (1853?–1913), был одним из самых богатых в городе людей. Мать, Александра Абрамовна (девичья фамилия Идельсон), умерла около 1899. Детей воспитывала мачеха, Алиса Яковлевна Каминская, от опеки которой пасынок постарался как можно скорее избавиться. И это ему удалось с окончанием гимназии: он поступил в Санкт-Петербургский университет.

¹ Фрадкина Елена Михайловна (1902–1981) – театральный художник, жена Е.Я.Хазина, брата Н.Я.Мандельштам. Цит. по машинописи (собрание П.Нерлера).

У Валентина было две сестры, и обе, как и брат, литераторы; обе, в отличие от брата, «попали» в «Краткую литературную энциклопедию». Особенно известной (впрочем, заслуженно) была его старшая сестра – Софья Яковлевна Парнок (1885–1933). Как и брат, она изменила фамилию; но если Валентин сделал это ради того, чтобы приблизиться к написанию имени ветхозаветного Парнаха, или Фарнаха², то Софья руководствовалась исключительно соображениями благозвучия. Умница и язва, она снискала себе известность и как поэтесса – автор лирических сборников «Стихотворения» (1916), «Розы Пиэрии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка» (1926) и «Вполголоса» (1928), и как переводчица: переводила в основном французов – Бодлера, Роллана, Пруста и др.

Вторая сестра (они с Валентином были близнецами) – Елизавета Яковлевна Тараховская (1891–1968), была более известна как детская писательница, автор книг «О том, как приехал шоколад в Моссельпром» (1925), «Метрополитен» (1932; при переизданиях – «Метро»), «Стихи и сказки» (1965), пьесы «По щучьему велению» (1936) и др. В конце жизни выпустила два лирических стихотворных сборника – «Скрипичный ключ» (1958) и «Птица» (1965), занималась и переводами.

Таганрог лежал вне черты оседлости, преобладающей культурной средой в городе была русско-греческая. Сильнейшими гимназическими впечатлениями Валентина были, однако, стихи на латыни и впервые тогда прочитанные Бодлер и Верлен – для него французский язык с детства был как родной. Первое собственное стихотворение Парнах написал в 9 лет, оно начиналось так:

Мойсей, о, если б ты увидел
Позор народа своего!..

Как видим, девятилетний автор всерьез мечтал о судьбе освободителя евреев.

Как золотой медалист, Парнах был принят в 1912 в Петербургский университет на юридический факультет без экзаменов – в числе 45 евреев, «положенных» по процентной норме. Но доучиться в России – стране погромов и мракобесных процессов об убиении христианских младенцев – ему было не суждено: все последующее десятилетие – период непрерывных скитаний по белу свету. Путь его пролегал сначала на юг Европы и вскоре впервые привел в Париж. Правда, уже в июле 1914 – война! – пришлось его покинуть.

«Полетим к светлым городам Азии...» – этот стих Катулла стал для Парнаха указующим перстом, путеводителем же служило «Путешествие на Восток» Жерара де Нерваля³. В Константинополе он садится на русский пароход и отправляется в Палестину. На том же судне, что и он (правда, на другой палубе), ехали православные паломники-антисемиты. От омерзения Парнах сходит в одном из ближайших портов, чтобы «поскорей покинуть эту плавучее гнездо черносотенцев».

² См.: Книга чисел. 34, 25.

³ Отрывки из «Восточного путешествия» Ж. де Нерваля в переводе с французского В.Парнаха опубли.: Северные записки: Литературно-политический ежемесячник. 1913. №8. С.47-69; №9. С.81-100.

Честно пытался Парнах найти свое место в ветхозаветной Палестине. «Я еще не признавался себе, что у меня меньше любви к евреям, чем отвращения к царской России... Наконец, вдали от Европы, больше, чем когда-либо, я почувствовал себя европейцем и осознал, что был им всегда. И я впервые испытал необходимость поселиться в Европе...», — напишет он в воспоминаниях⁴. В яффской гостинице он искренне завидует европейцам, возвращающимся в свои страны, чтобы вступить в армию: «Мне казалось, они счастливы. Ведь у них есть родина».

Но и здесь, в Палестине, поэт чувствовал себя чужим. Ему было мучительно не по себе — без снегов, без стихов, без родины. Русский язык и русская поэзия неудержимо влекли его, — и он снова едет в Россию.

«Граница! Казалось, за мною захлопнулась дверь тюрьмы».

Интуиция не обманула его. После всего того, что он в России увидел, что пережил и что понял, негодование охватило его. Одно из таких впечатлений — депортация евреев:

Еврейских бедняков изгоняли из прифронтовых губерний, увозили в скотных вагонах, помеченных надписью «40 евреев, 8 лошадей». На этих отверженных тяготело проклятие; запрещено было оказывать им помощь. Случалось, что губернатор той области, куда их направили, не желал их принимать и отсылал обратно. Тогда первый губернатор возвращал их второму, и оба принимались играть в мяч, пересылая друг другу «унутренных врагов». Так в этих подвижных тюрьмах перевозилось мясо для погрома.

Об этих вагонах Парнах написал и в стихах:

Вповалку и по накладной!
Евреи в воня скотского вагона
После резни очередной.
Вот где цвести вам, пальмы Соломона!⁵

Язык? Русский язык? И после этого писать по-русски!? «Не преступление ли это против гонимых Россией евреев?..», — спрашивал он себя самого.

Но что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая.

«Раньше область стихов, — писал он, — была для меня убежищем, и вот это последнее убежище осквернено царской Россией. Ведь язык — некая броня, которая предохраняет поэта от натиска внешнего мира. И вот эта броня оказалась неверной защитой. Ведь язык — оружие, мое единственное. И вот я безоружен. И это оружие обращается против меня самого».

И что же?

Из такой России оставалось только одно: бежать, уехать. И в 1915 кружным путем через Стокгольм и Лондон он возвращается в Париж, где живет более шести лет.

За кажущейся беспорядочностью перемещений открывался, однако, своеобразный строй: русский по языку и поэтическому призванию, европей-

⁴ Здесь и далее цитаты из воспоминаний Парнаха приводятся без отсылок.

⁵ Из стихотворения В.Парнаха «Высланные (1914—1917)», опубликованного в сборнике «Самум» (1919).

ея по культурному самоощущению, иудей по крови – Валентин Парнах метался в географическом треугольнике Россия – Европа – Палестина, нигде не находя успокоения, повсюду тоскуя и взыскуя о недостающих углах.

Поэтическое призвание Валентин Парнах ощущал в себе с детства, но по-настоящему оно проявилось только в конце 1910-х в Париже. Здесь он основал «Палату поэтов», на заседаниях которой не раз выступал и со стихами, и с докладами (в частности, «На смерть Блока», «О новых формах поэзии», «Рецепт для публики»)⁶.

В Париже вышли и первые его сборники – «Набережная» (1919, с рисунками М.Ларионова), «Самум» (1919, с рисунками Н.Гончаровой) и «Словодвиг / Mot dinamo» (1920; на русском и французском языках, с рисунками Н.Гончаровой и М.Ларионова). В 1922 в парижском издательстве «Франко-русская печать» вышла еще одна книга стихов Валентина Парнаха – «Карабкается акробат». На обложке – портрет автора работы Пабло Пикассо, в книге – рисунки Натальи Гончаровой и Ладю Гудиашвили (Di Lado), а также авторские иероглифы танцев. С этим поэтическим сборником вышла такая история: парижская газета «Общее дело» обвинила автора в порнографии, так как два стихотворения были посвящены фаллическому ритму и, по выражению автора, «фаллической фантастике в индийском роде». После этого издатель О.Г.Зелюк распорядился вырезать из книги страницы 25 и 26, которые были восстановлены лишь в авторских экземплярах.

В Париже были написаны и поэма «Саббатейяны», и книга статей о современности и новой поэзии (и поэма, и статьи впоследствии утрачены). В 1919 он (кстати сказать, вместе с рядом видных эсеров) участвовал в редакционной подготовке сборника произведений русских воинов «На чужбине»⁷.

Несмотря на бесспорный творческий дар, на наличие собственной и глубоко прочувствованной темы, поэтическим событием стихи Валентина Парнаха все же не стали. И все-таки многие ставили их достаточно высоко. Например, Довид Кнут, приехавший в Париж в 1920, посвятил Парнаху (наряду с М.Таловым и А.Гингером) целую статью – «Первые встречи, или Три русско-еврейских поэта». Он писал:

С формальной точки зрения, Парнах был эпигоном футуризма. Фактически же ему удалось создать нечто вроде синкретического искусства из акмеизма и истинного футуризма взамен той карикатуры (временами, правда, дававшей плоды), которая, в соответствии с учением Маринетти, именовалась в России «футуризмом».

Русская поэзия по обе стороны границы не знала, как мне кажется, поэта машин и механизмов столь значительного, с таким талан-

⁶ Подробнее о Палате поэтов и об участии в ней В.Парнаха см. статью Л.Ливака «Героические времена молодой зарубежной поэзии» в наст. томе «Диспоры».

⁷ См.: «От редакции: выражаем признательность О.С.Минору, В.Я.Парнаху, В.М.Зензинову и М.О.Цетлину, разделившим с нами редакционно-издательскую работу» (На чужбине: Сб. произведений русских воинов. 1914–1919. Париж: Изд. газ. «Русский солдат-гражданин во Франции», <1919?>. С.5). Сообщено С.Гардзонио (Пиза).

том и размахом, как Парнах. В его «механистических» стихах, написанных со скупостью и пренебрежением к псевдопоэтическому украшательству, нет-нет да и мелькнет неожиданно и социальная скорбь, и подобие метафизической боли за униженных и оскорбленных, которые позволительно связать с еврейским происхождением этого русского футуриста...⁸

Довид Кнут вспоминал о Парнахе как о человеке «крайне замкнутом, невысокого роста, рыжем, с узким лицом, телом напоминающем змею. Изумительными были его голос и пластика». Был он «не только поэтом, но и танцором, создавшим свой собственный стиль, в котором негритянский фольклор соединился с неповторимым хореографическим искусством».

Совмещением танца и поэзии, как и своим еврейским происхождением Парнах необычайно гордился. «Должно быть, – предполагает Д.Кнут, – это единство рисовалось ему как современная вариация на древнюю тему жреца-поэта...». И продолжает далее:

Помню еще «лежачий танец» Парнаха. Не знаю, понимал ли это сам поэт-танцор, но его танцы, которые он исполнял облаченным в смокинг, самым причудливым образом, в декадентской форме, выражали кризис нашей урбанистической цивилизации и, возможно, даже крах агонизирующего общества.⁹

Еще в Петербурге Парнах брал уроки танцев, а в Париже начал сам изобретать танцы – и исполнять. В мае–июне 1921 в Париже и в Риме¹⁰ с успехом прошли вечера новых танцев Парнаха. Он был, в сущности, чем-то вроде джазового танцовщика, создателя причудливых танцевальных композиций, для записи которых, кстати сказать, Парнах разработал оригинальный, наподобие нотописи, «язык танца» – своеобразные хореографические алфавит и грамматику. Чего стоят одни только названия этих танцев – «Лос бандерильос», «Эпопея», «Жирафовидный истукан» или «Этажи иероглифов»! В 1932 в Париже он даже выпустил монографию «История танца»¹¹.

Летом 1922 В.Я.Парнах в очередной раз возвращается в Россию, на сей раз уже в советскую Москву. Произошло это во второй половине августа, как явствует из письма Парнаха А.М.Ремизову. Оно написано наскоро, черными чернилами, на вырванном из общей тетради листе и адресовано из Москвы в Берлин:

А.М.Ремизову
Kirschstrasse, 2 II bei Delion
Charlottenburg, Berlin

Дорогой Алексей Михайлович,
Шлю Вам и Серафиме Павловне преданный привет из Москвы.
Ехал неделю + три дня карантина в Великих Луках, с трудом вы-

⁸ Цит. по: Кнут Д. Собр. соч.: В 2 т. / Сост. и коммент. В.Хазана. Иерусалим, 1997. Т.1. С.269-270.

⁹ Там же. С.269.

¹⁰ Весной 1921 в Риме Парнах жил на Виа Бабуино, в доме адвоката Антонио Гера. См.: Новая русская книга (Берлин). 1921. №4. С.22.

¹¹ Parnack. Histoire de la danse. Paris: Redier, 1932.

ввался оттуда. Спал на узкой доске, на соломе, на чемоданах. Сейчас сплю на скамье в Союзе Писателей: Тверской бульвар, 25, где меня на несколько дней устроил О.Э.Мандельштам. Мейерхольд сейчас в ПБ <Петербурге>, приезжает на днях. Я привез jazz-band. Это письмо привезет Вам поэт Б.Л.Пастернак. Пожалуйста, напишите мне.

Всего Вам лучшего.

Преданный

Валентин Парнах
Valiac, Mathens-Mueller See

Мой адрес пока: Софии Яковлевне
Парнок-Волькенштейн
4-ая Тверская-Ямская, 8, кв.3
Москва

P.S. Когда выйдут Ваши новые книги, пожалуйста, пришлите мне. Мой поклон Андрею Белому.¹²

Осип и Надежда Мандельштам, сами приехавшие в Москву из Киева сравнительно недавно, в апреле 1922, получили комнату в писательском общежитии Дома Герцена на Тверской, в его левом флигеле. Они не только устроили Парнаха на несколько дней, но и добились выделения ему здесь отдельной комнаты. Таким образом, Парнах и Мандельштамы в 1922–1924 стали соседями: в их две комнатухи можно было попасть только через комнату Парнаха.

Сразу же по прибытии Парнах попадает в центр внимания артистической Москвы, он нарахват, его буквально рвут на части. Он сближается с поэтической группой «Московский Парнас», выступает с лекциями, публикует статьи. Его танцы стали сенсацией. Он учит фокстроту Эйзенштейна и ставит танцы в театре Мейерхольда – с участием Игоря Ильинского, Марии Бабановой и Льва Свердлина.

Мало того, Парнах стал первым человеком, познакомившим российскую публику с новым мировым музыкальным явлением – джазом. Из Парижа в Москву он привез весьма экзотические предметы – саксофон и наборы сурдин для труб и тромбонов.

По свидетельству Евгения Габриловича, Парнах основал первый в СССР джаз-банд и дал первый в СССР джаз-концерт. Произошло это в 1922 в зале Дома печати, переполненном публикой:

Парнах прочел ученую лекцию о джаз-банде, потом с грехом пополам (ибо никто в Москве не умел играть на саксофоне) сыграли джазовые мелодии. Когда же сам Парнах исполнил страннейший танец «Жирафовидный истукан», восторг достиг ураганной силы. И среди тех, кто яростно бил в ладоши и взывал «еще», был Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он тут же предложил Парнаху организовать джаз-банд для спектакля, который тогда репетировался...¹³

¹² Amherst Center for Russian Culture. A.Remizov and S.Remizova-Dovgello Papers. Box 1. F.7. Письмо датируется по содержанию.

¹³ Габрилович Е. Рассказы о том, что произошло // Искусство кино. 1964. №4. С.60-69.

Несомненно, Мандельштам использовал свое близкое знакомство с Валентином Парнахом при написании «Египетской марки», наделив своего главного героя – Парнока – не только чертами, но и самим именем Парнаха. «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него...» – эта отчаянная реплика Мандельштама вполне могла быть воспринята Парнахом как пощечина¹⁴.

Известно, что Парнах действительно смертельно обиделся. Напрасно. С трагическим и шаржированным образом Парнока литературная молва прочно связала и самого автора «Египетской марки». Как бы то ни было, но образ Парнока несет в себе черты и черточки разных судеб и характеров. Главное в нем – сочетание хрупкости, напуганности, уязвимости и уязвленности с чувством достоинства, чести, с бесстрашием в вопросах жизни и смерти.

И каким бы жалким, беспомощно-хрупким ни показался нам Парнок – в прачечной ли рядом со священной рясой Бруни или в прихожей портного Мервиса, – именно он, этот Акакий Акакиевич наших дней, отождествления с которым так опасался автор, – именно он бросается в самую гущу событий, пытаясь доступными ему средствами спасти от расправы неизвестного ему человека, приговоренного толпой к самочинной расправе! Не подобным ли образом действовал в свое время и сам Мандельштам, так боявшийся клопов и милиционеров, но сразу же выхвативший из рук одного начинающего поэта, более известного как убийца Мирбаха, пачку арестных ордеров, которыми тот вертел перед его носом, пьяно хвастаясь властью над «пачкой» судеб? Мандельштам разорвал их на глазах уже отвыкшего от человеческих поступков чекиста...

Биография самого Парнаха содержит немало такого, что решительно несовместимо с образом неудачника-Парнока. Но кем бы Парнок ни был – Парнахом или Мандельштамом, или сразу обоими, – куда важнее то, что несколько лет Валентин Парнах и Осип Мандельштам жили бок о бок и тесно общались. И не исключено, что сама идея, несколько странная для 30-летнего человека – обратиться к писанию мемуаров, – пришла в голову одного из них под влиянием или по примеру другого: Мандельштам написал в 1923–1924 «Шум времени», а Парнах – «Пансион Мобер».

В середине 1920-х Валентин Парнах, по собственному признанию, начал задыхаться от «тирании предшественников РАПП, от злобного православия старой загнивающей интеллигенции, от расцветшего с новой силой общественного антисемитизма». В 1925 он выпустил свой последний – и первый на родине – поэтический сборник «Вступление к танцам». В конце этого года Парнах снова едет в Париж – и снова на шесть лет.

Там он печатает свои переводы... с русского на французский. В частности, отдельными книгами вышли проза К.Федина¹⁵ и гражданская поэзия Пушкина¹⁶. Печатается и в периодике, в том числе в англоязычной. Так, в

¹⁴ Цит. по: Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М., 1993. С.481.

¹⁵ Fedin C. Transvaal / Trad. par V.Parnac. Paris, 1927.

¹⁶ Pouchkine A.S. Poèmes révolutionnaires... / Trad. du russe par V.Parnac. Paris, 1929.

1926 в американском еврейском двухмесячнике «The Menorah Journal» он опубликовал статью «В русском литературном мире», посвященную Гершензону, Пастернаку, Мандельштаму, Антокольскому и Лапину¹⁷.

Еще в 1915, находясь в Париже, он наткнулся в библиотеке на протоколы испанской инквизиции. Среди них обнаружили редкостные стихи, написанные в тюрьмах. Парнах был потрясен:

Казалось, моя кровь текла вспять к родной древности. Да я и сам пережил некую инквизицию в царской России <...> Все, что было инквизиционного в нашем веке, пребывало во мне самом. <...> В биографиях и стихах испанских и португальских поэтов – евреев, подвергнутых пыткам, изгнанных или загубленных инквизицией, я – как это ни странно – обретал некий покой: ведь их участь была куда жестче моей. И все-таки они писали на языке инквизиторов. В этих книгах я черпал новые силы. Из этого тюремного мира я выходил, возрожденный к жизни.

Это был целый пласт трагической поэзии, загубленной и похороненной испанской или португальской инквизицией. Знакомство с судьбами и стихами еврейских поэтов, большая часть которых пала жертвами инквизиции, и при этом писала стихи на языке своих убийц, потрясло Парнаха до глубины сердца и подвигло на перевод всего, что сохранилось, – на русский и французский языки. Во Франции книга вышла в 1930 под названием «Инквизиция», а в 1934 – вышла в СССР¹⁸. На современников сборник произвел сильнейшее впечатление: этой книгой восторгался Осип Мандельштам, который находился тогда в воронежской ссылке. Из писем Мандельштама известно, что поэт был настолько потрясен книгой, что даже начал учить испанский язык¹⁹. Надо полагать, что, читая стихи испанских евреев, Осип Эмильевич вспоминал не Парнока – героя своей прозы, а живого Парнаха, ровесника и соседа по Дому Герцена.

Из Парижа Парнах вернулся в Москву в 1931, и эти скитания, наверное, продолжались бы еще долго, когда бы советская власть была на то согласна. Но поездки вскоре прекратились: ни второго, ни третьего Эренбурга Сталину не требовалось.

В.Я.Парнах был талантливым переводчиком, и последние двадцать лет жизни он занимался в основном переводами. Переводил не только с фран-

¹⁷ Parnach V. In the Russian World of Letters // The Menorah Journal (New York). 1926. Vol.12. №3, June–July. P.302-305. Фрагмент из этой статьи под заглавием «О некоторых образах Мандельштама» опубликован на русском языке: Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. / Под ред. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Вашингтон, 1966. Т.2. С.399-412.

¹⁸ См.: Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции: Стихотворения, сцены из комедий, хроники, описания аутодафе, протоколы, обвинительные акты, приговоры / Собрал, перевел, снабдил статьями, биографиями и примечаниями Валентин Парнах. Л.; М: Academia, 1934. 189 с. (Сер. «Лит. памятники»).

¹⁹ См. письмо О.Мандельштама С.Б.Рудакову от конца августа 1936 и его письмо отцу от 12 декабря 1936, опубл.: О.Мандельштам. Собр. соч.: В 4 т. Т.4: Письма. М., 1997. С.172.

цузского, который знал в совершенстве (особо выделим его перевод «Трагических поэм» Агриппы д'Обинье), но и на французский; мало того, он и сам писал стихи по-французски. Переводил с испанского (великолепен его Лорка!) и с португальского, кроме того – с немецкого и итальянского. Главными и бесспорными достижениями Парнаха-переводчика стали уже упомянутый сборник стихов жертв испанской инквизиции и «Трагические поэмы и мемуары» Агриппы д'Обинье (1949), стихи Федерико Гарсиа Лорки, а также пьеса Кальдерона «Жизнь есть сон».

Остается только гадать, как этот вечно ищущий родину человек, этот Вечный Жид и «безродный космополит» уцелел в 1930-е и 1940-е. Не приходится сомневаться: он прожил это время в каждодневном страхе.

Страшной осенью 1941 Парнах с семьей был эвакуирован в Чистополь. Как и другой изгой – Марина Цветаева, Парнах искал возможность устроиться за кусок хлеба в литфондовскую столовую: она – мыть посуду, он – стоять в дверях. Его взяли, Цветаеву – нет (после чего она и переехала в Елабугу). Парнаху же оставалось жить еще десять лет. Он умер 19 января 1951, полгода не дожив до своего шестидесятилетия, и похоронен в стене Новодевичьего монастыря. Судьбе было угодно, чтобы он умер в своей постели: это произошло хотя и после убийства Михоэлса, но еще до «дела врачей» и смерти Сталина.

Но если и были в СССР настоящие космополиты, то Валентин Яковлевич Парнах – несомненно, один из них. Больше всего его хочется сравнить с Агасфером, пространством вечных странствий которого был тот самый мысленный географический треугольник между Россией/СССР, Палестиной и Францией (Парижем).

Одной из осей его «космополитического» мироздания была Европа, а ее символами – Франция, Париж, Латинский квартал и тихая комнатка в большом, шумном и гротескном пансионе.

Заглавие воспоминаний «Пансион Мобер» восходит к названию одного частного пансиона в Латинском квартале, в котором В.Парнах обретался в течение всего своего первого, более чем шестилетнего «погружения в Париж». Начало работы над текстом, скорее всего, относится к 1915. Основная часть была написана в 1923–1924, а заключительные пассажи, судя по всему, – не раньше 1931, времени последнего возвращения Парнаха в Москву. Собственно говоря, это даже не воспоминания, а исповедь Валентина Парнаха. Бесправный российский еврей, зажатый «чертой оседлости» и «процентной нормой», взятый за горло государственным антисемитизмом, он задыхался в царской и советской России – стране-тюрьме, как он ее кожей ощущал, поэзию которой, однако, он так страстно, так самозабвенно и бескорыстно любил.

В 2000 в Москве вышло первое посмертное издание В.Парнаха²⁰. Мандельштамовское общество в Москве уже давно планирует выпустить том его избранной лирики, переводов, статей и воспоминаний.

²⁰ Парнах В. Жирафовидный истукан. 50 стихотворений. Переводы. Очерки, статьи, заметки / Сост., вступит. статья и коммент. Е.Р.Арензона. М.: Пятая страна; Гилея», 2000. 222 с.

Текст воспоминаний дается по авторизованной машинописи, хранящейся в фонде В.Я.Парнаха в РГАЛИ (Ф.2251. Оп.1. Ед.хр.44). Имеется также рукописный французский текст этого произведения (собрание А.В.Парнаха). Публикаторы и комментаторы благодарят С.Гардзонио, Д.Гузевича, Н.А.Струве, Г.Суперфина, А.Фэвр-Дюпэгр и В.Хазана за щедрую помощь. При публикации мы старались максимально сохранить особенности авторского стиля. Подчеркнутые автором слова и фразы выделены курсивом. Пропущенные слова вставлены в угловых скобках.

* * *

В парижских гостиницах и пансионах дешевые комнаты (вернее, каморки) выходят во двор. В них царит вечная ночь: прямо перед окном торчит серая голая стена. Здесь поневоле запоешь тюремную песню.

Промозглым безысходным утром мысль о самоубийстве является так же естественно, как желание есть и пить; лежишь на жалкой кровати и вдруг, неожиданно для самого себя, скажешь вслух: «Лучше умереть, чем так жить!» Но каким-то чудом живешь и живешь.

Многие иностранцы и даже французы-провинциалы, никогда не бывавшие в Париже, простодушно представляют себе его столицей веселья. Жители северных стран, в частности русские, думают, что в Париже стоит всегда прекрасная погода.

Они не знают, что в Париже три четверти года накрапывает дождик, моросит дождь, хлещут ливни. Февральские ливни, мартовские грозы, апрельские «жибуле»¹ с хлопьями мокрого снега, страшные ноябрьские дожди!

Гнусный шум вечного дождя за стеклами и в водосточных трубах! Днем и ночью, по утрам и по вечерам, сколько раз, заживо погребенный в четырех стенах жалкой комнатухи, я впадал от него в отчаяние!

Париж. Бульвар Сен-Жермен.
Октябрь 1915 г.

I

Приближался час обеда. В большой столовой, под стеклянным потолком, уже был накрыт подковообразный стол.

У окошечка, выходящего на кухню, хозяин пансиона мосье Мобер² отдавал последние распоряжения.

Это был что называется красавец-мужчина: густые седые волосы, крашенные, лихо закрученные усы, правильные черты и благосклонно-самодовольная улыбка.

Его родители, набожные крестьяне из Оверни³, когда-то хотели сделать из него священника. Но в семинарии он обучился, главным образом, искусству гомосексуализма. Он не закончил курса. Выставили ли его? Ушел ли он добровольно? Не знаю. Во всяком случае, он очутился в Бухаресте, влюбил в себя вдову румынского полковника и женился на ней. Эта черная, усатая, грудастая дама (с бровями в два пальца шириной) принесла ему приданое, и Мобер открыл пансион в Париже.

* * *

Сойдя в гостиную, я услышал пение девушки.

Привлеченный незнакомым голосом, я открыл дверь. К моему удивлению, там оказался только «друг» Мобера – Альфред.

Ему было лет восемнадцать. Этого смазливового провансальца с шелковистыми волосами, с пухлыми губами, лишенными даже пушка и, казалось, хранившими следы поцелуев, можно было принять за девушку, переодетую в мужской костюм.

Альфред был дамским портным. Среди дам, живших в пансионе Мобер, у него были заказчицы. Иногда в гостиной он примерял им манто.

Каждый день он завтракал, обедал и ужинал за табльдотом в пансионе своего покровителя. Перед самым носом жены Мобера он ходил поводя бедрами и щеголял своей сомнительной грацией.

С лукавой улыбкой Мобер называл его «мой сынишка».

Это Альфред пел женским голосом.

* * *

Раздался обеденный звонок. Один за другим, со всех этажей жилыцы двинулись в столовую.

Мало-помалу конец стола заняли целые орды студентов: мексиканцы, аргентинцы, чилийцы, перуанцы, боливийцы, парагвайцы, уругвайцы, венесуэльцы, колумбийцы, гватемальцы, бразильцы (метисы, полуиспанцы, полуиндейцы, полупортугальцы, мулаты, квартероны). В жужжание голосов ворвались гнусавые гортанные возгласы и дикие мычания. Рядом с этими молодыми людьми сели их «курочки»-французенки. Эти размалеванные куклы набросились на еду. Не обращая на них внимания, их владельцы перекидывались испанскими словечками и время от времени лапали подружек.

С одного конца стола до другого уже доносились обрывки фраз на десятке языков.

Справа раздались гортанные синкопы египтян:

– Шуф! Мухаммед! Эсма, Галал! Миср... уаххад... фи... араби... багр... айуа... поташь⁴... хорошенькие бабенки, ха-ха-ха!..

Дальше послышалось шипенье и, казалось, застучал телеграф: это залюбезничали поляки:

– Так, проше пану, так, так, так...

– ...У меня двенадцать пар обуви, а у моего брата – четырнадцать!
– объявила соседям молодая румынка.

– Да, я горжусь – карахо⁵! – спасителем нашей родины генералом Лопесом-и-Айяла... Como hombre y como soldado! (Как человек и как солдат)... Как вы смеете не признавать Лопеса?.. – гаркнул перуанцу чилиец.

– Мосье Мобер, пожалуйста, передайте мне ма-а-аленький кусочек хлеба! Ма-а-аленький кусочек! – жеманно попросила французенка с похабным лицом, приоткрывая подвижные жадные губы.

– Пожалуйста, мадам Обье! Вот вам маленький кусочек хлеба! – ответил Мобер с особой учтивостью, свойственной гомосексуалистам в обращении с дамами.

Вдруг он улыбнулся мальчишеской озорной улыбкой: сквозь стеклянную дверь он увидел, как по большой парадной лестнице спускается старушонка.

Простое лицо русской крестьянки! Жалкие пряди седых волосков выбивались у нее на затылке. Она куталась в меховой палантин и, нюхая воздух расплюснутым вздернутым носиком, казалось, критиковала всех присутствующих. Она приближалась почти величественно. («У меня царственная поступь!») – однажды сказала она.

Мобер принял смиренный, подобострастный вид. Низко поклонился. «Мадам»! (По-мусульмански поднес правую руку ко лбу.) «Мадам»! (Поднес правую руку к груди.) «Мадам»! (Поднес к губам ее ручонку.) Старуха покраснела и скрыла торжествующую улыбку. И так же величественно села рядом с Мобером. (Он всегда председательствовал за табльдотом.)

– ...А-а, дед Патар! – весело воскликнуло несколько человек.

К столу приковылял старый француз лет семидесяти, коротышка, толстяк, налитый кровью, всегда довольный собой, достойный потомок Гаргантюа.

– А как ваша Сюзи? – лукаво спросили деда о его двадцатилетней любовнице.

– Ну что ж, делаем раз в ночь, потом спим, – невозмутимо ответил он, в присутствии дочери, не обращая внимания на негодующий взгляд старухи Стрелковой.

За ним сошел еще один жилец. Худой. С римским профилем. В очках. Дальнзоркий, он двигался, как слепой. Ему мешали непомерно длинные ноги. Казалось, он не может их согнуть. Он шел словно на ходулях. Заведенный автомат, движущаяся башня! Высокий крахмальный воротник душил его.

Это был Савиньи, итальянец, служащий Латино-американского банка.

Как всегда, с цинической усмешкой он поздоровался с соседями, спросил на парижском аргю: «Как дела?» у студента-уругвайца и не без иронии сказал русской старухе: «Добрый вечер, мадам де Стрелкофф!», – подчеркивая частицу де.

– Добрый вечер, баронесса! – с наглой улыбкой сказал он другой соседке. – Как поживаете, баронесса?

Она радостно взвизгнула и показала свои гнилые зубы.

Баронесса была почти карлицей. Кончик ее носа был свернут набок, все черты кирпично-красного лица сдвинуты. Голову, казалось, когда-то сдавила тиски. Уши, слишком большие для ее крошечной головки, торчали. Кроме того, эта дама косила. Все называли ее почему-то баронессой.

Соседство Савиньи ее возбуждало. Она не могла усидеть на месте, ерзала, словно в заду у нее был гвоздь, и с обезьяньей суетливостью хватала то нож, то вилку, то стакан.

– Добрый вечер, мосье Савиньи! – восторженно ответила она. И думая, что говорит по-итальянски, старательно принялась твердить три известных ей испанских слова:

– Buenas noches, Senor! Buenas noches, Senor!⁶

Савиньи повязал салфеткой шею и тут же язвительно принялся истолковывать последние военные известия:

– Значит, русские опять отступают⁷? Вот уже второй год войны, а они все отступают!

– Проклятые б-боши! А эти мерзавцы греки, португальцы, американцы!⁸ До сих пор они не выступили в защиту Франции, в защиту великой культуры, – сказала какая-то швейцарка.

– Но они вступят в войну. Они обязаны вступить. Они не смеют оставаться нейтральными! – воскликнул кто-то.

– ...Вчера вечером мы раздели ее догола! – неожиданно брякнул Савиньи.

– Кого это? – спросил сосед.

– Джаннетт. – (Так Савиньи произносил имя Жаннетт.) И взглядом он показал на женщину в зеленой кофте – развалину с крашеными разноцветными волосами. У нее не было талии: груди, живот, спина, бедра составляли одно дряблое целое. Рыхлая, грузная, она с трудом волочила ноги. Она шурила выцветшие глаза, почти лишенные ресниц. Глаза, ноздри, губы всегда были у нее влажными. Она пускала слюни, говорила плаксиво и вечно томилась. От нее несло эфиром.

Только Савиньи мог забавляться, раздевая это чудовище неопределенного возраста.

Жаннетт явилась в сопровождении бородача. Это был ее «друг», рослый бельгиец. Он мог показаться даже сильным, если бы не его походка: он передвигал ноги осторожно, неуверенно, словно в животе у него была дыра.

– Видите, как он ходит? – спросил Мобер. – У него ведь нет кончика... понимаете?... ему оторвало! Вы не верите? Это случилось на фронте... Мосье присел отдохнуть... на снаряд. Снаряд согрелся от зада мосье и... взорвался... И вот у мосье теперь не хватает кончика на его штучке... Ему ввинтили металлический...

– Да что вы?!

– Правда, правда... Ну, значит, мы поедем путешествовать только вдвоем? – обратился Мобер к старухе Стрелковой. – А как мы сделаем? В гостиницах мы будем снимать две или одну комнату на нас двоих?

– Ах, мосье Мобер! Да что это вы говорите?!

Старуха притворилась возмущенной, но в действительности она млела от удовольствия.

– Да, мадам, вы меня поведете по пути добродетели! – продолжал Мобер. – Конечно, я не Христос, но все-таки...

Он встал и отдал какое-то распоряжение горничной Франсине, златоволосой, статной и веселой красавице, мелькавшей в этой столовой, как невероятное видение юности и здоровья, как воплощение прелести Франции.

Вдруг он весело бросился к старухе и на глазах у обедавших несколько раз поцеловал ее в затылок. Она покраснела и, затаив восторг, воскликнула: «Да что вы делаете, мосье Мобер?» Она замотала головой, словно желая стряхнуть эти поцелуи, как бык пытается избавиться от жгучих бандериллий, вонзившихся в его хребет.

И не без торжества взглянула на соседей.

– Мобер всегда валяет дурака! – пробормотала двоюродная сестра хозяина. – Старая дуреха влюблена в него по уши.

– ...Я вижу цвета. Скоро я смогу видеть все! – простодушно улыбаясь, сказал демобилизованный французский солдат, слепец с пустыми орбитами выжженных глаз.

– Недурная дичь! – вдруг объявил капрал, приехавший в отпуск с фронта. Он показал соседям какую-то фотографию. На ней красовался немецкий унтер с Железным крестом на груди.

– Жирный, правда? – с гордостью спросил капрал.

– Здорово! – воскликнул кто-то. – А как вы его кокнули?

– Мы нагрянули в деревню. Боши не успели бежать. В трактире двое еще играли на бильярде. Они меня не видели. Я взял бильярдный кий и... бац! – пробил бошу череп, тому, что был пожирней... Насмерть! В его кармане я и нашел эту карточку. И взял себе на память.

Его распирало самодовольство. Коренастый, уверенный в себе, он взмахнул фотографией и показал ее другим жильцам, словно охотник, хвастающий тушей убитого кабана. Фотография пошла по рукам...

– ...Послушайте, доктор, – встревоженно сказала баронесса врачу-сирийцу, своему соседу слева. (Она суетилась больше обыкновенного.) – Я хочу у вас спросить... У меня появились... под мышкой... два больших прыща... Я боюсь... понимаете... Но, знаете, не больно... – с надеждой прибавила она. – Как вы думаете?..

– Э-э, вот именно... Это болезнь предательская... Не больно. Сначала можно даже не заметить... А тем не менее... Да, это предательская болезнь, – гортанным голосом ответил сириец, выпучив бараньи глаза.

Он невозмутимо продолжал хлебать суп: сообщение баронессы не отбило у него аппетита. Он обещал осмотреть ее после обеда.

– А-а! Значит, наша баронесса, даже баронесса пустилась в любовные похождения. Вот стерва! – шепнула двоюродная сестра Мобера. – Наверно, ночью она выходит на улицу и покупает себе мужчину (еще бы, рантиерша!..).

Тут встал бородастый лысый старик-француз, выдававший себя за друга Верлена, во всяком случае, похожий на Верлена⁹. Бледный, он открыл на странице 209 маленькую книжонку «Прогулки по старому Парижу» библиофила П.-Л.Жакоба¹⁰ и не без пафоса прочел вслух: *«Проходя по маленькому мосту к площади Шатле, содрогаетесь (тут его голос задрожал) при воспоминании об ужасной осаде Парижа норманнами в IX веке»*¹¹.

В эту минуту какой-то жилец принялся чихать (раз пять подряд), и «друг Верлена» почувствовал себя оскорбленным в лучших чувствах.

Между тем приближался конец обеда. Многие жильцы поднялись к себе в комнаты. Другие перешли в гостиную, и граммофон тут же захрипел танго «Под солнцем Аргентины».

Жаннетт расчувствовалась. В углу гостиной она атаковала какого-то юного студента и плаксиво заговорила:

– Мой друг-бельгиец... знаете... он был ранен на войне... он много не может, – она вздохнула. – Савиньи слишком груб. А вот вы, мосье, вы такой мягкий, такой милый...

– Ну, у баронессы нет ничего. Я ее только что осмотрел, – объявил соседям врач-сириец, сойдя в гостиную. – Это была ложная тревога. Просто баронесса плохо моется.

В это время мадам Обье подошла к Моберу и, жеманно приоткрывая подвижные губы, что-то шепнула. Мобер лукаво улыбнулся, украдкой взглянул на французского офицера, только утром приехавшего в пансион, и тайно дал мадам Обье какой-то ключ. Граммофон все еще хрипел «Под солнцем Аргентины».

Утомленный путешествием офицер поднялся к себе. Он быстро заснул. Вдруг его дверь, сообщавшаяся с соседней комнатой и обычно запертая на ключ, тихонько приоткрылась. И вот, облаченная в красный пеньюар, чувствуя себя неотразимой, торжественно появилась мадам Обье. Не теряя времени, она проникла если не в сердце, то, во всяком случае, в постель оторопевшего офицера.

II

В сущности, как я попал в Париж? В этот пансион? Как все это произошло?

Я родился в приморском белом городишке на северо-востоке от Крыма. Везде балконы и террасы. Сады полны чайных роз, сирени, гелиотропов. Стройные улицы, обсаженные белыми акациями и пирамидальными тополями, составляли сплошной сад. Летом весь город источал благоухание. Маленький порт, куда я часто ходил на прогулку с отцом, казалось, младенчески улыбался. Турецкие фелуки, греческие пароходы! Я жадно читал названия: «Мариетта», «Амвросий», «Негропонте». Я жадно вдыхал запах морской соли и корабельных смол. В начале весны в море млели сизые голубиные цвета. Летом, по вечерам, в сумраке и прохладе, реяло что-то зеленое. А закат цвел особой янтарной желтизной, которую через много лет я увидел только в Толедо. В греческом монастыре, белевшем дорическими колоннами, уныло звенели вечерние колокола.

В этот час, после целого дня тяжелой жары, девушки и юноши выходили на улицу. Они спешили на свидание в городской сад или в гавань. На плечах гречанок развевались красные, лиловые, желтые, оранжевые шарфы.

Вечер, отягченный густым мраком, хранил юные тайны. На пустынной улице вдруг веяло благоухание: через минуту из-за угла появлялась раздушенная бронзово-смуглая гречанка в легком белом платье и опять исчезала в черной ночи.

Дни тянулись лениво. Греки медленно перебирали четки. Мелкими зернами сыпались греческие слова. На бортах парохода и на вывесках парикмахерских не уядала древность — греческие буквы.

* * *

В детстве я дважды ездил в Крым. В те времена он еще мало обрусел. Это был скорее уголок Турции. Возносились минареты, зывали муэдзины. Из-за холмов, как неожиданные пленительные подарки, появлялись фески и чалмы. Я жадно вслушивался в прекрасные звуки татарской речи. Весь полуостров был насыщен запахом горячего турецкого хлеба, магнолий и маслин. Между кипарисов, мощно гремя, мелькало ослепительное море. От этих запахов, от

этого моря у меня кружилась голова. Я пьянел до боли... Взывали минареты, возносились муэдзины...

В этом уголку Российской империи передо мной приоткрылся эллинский и мусульманский мир. И я его горячо полюбил. В царстве русских снегов в те времена я знал только наше побережье и эту южную окраину России, северный предел Средиземноморья.

Он остался для меня навсегда детским раем.

* * *

Я родился в еврейской, вполне обрусевшей семье. Родным языком для нас был русский. Мой отец был равнодушен к религии и никогда не ходил в синагогу. Поэтому я не знал иудейских обрядов и меня не учили древнееврейскому языку.

Я не подвергался также никакому давлению со стороны местных единоверцев. Они от меня ничего не требовали и сами мало придерживались религии.

В этом смысле я жил как еврей-интеллигент европейских стран.

Наша область находилась далеко от еврейских центров, вне обширного гетто, известного под названием «черты оседлости», куда была загнана бóльшая часть евреев.

Но даже в нашем, на первый взгляд, идиллическом городке, которому смешанное население придавало теплые нерусские краски, только пустой человек или нравственный урод мог оставаться равнодушным к тому, что творилось в тогдашней России.

В этой отсталой, несурзной стране жизнь была разделена на всяческие рубрики, обставлена всяческими препятствиями, которые возникали на каждом шагу, со всех сторон, скрещивались и составляли решетки тюрьмы.

Уже в детстве я слышал, как взрослые говорили о «праве жительства» (эти два слова сливались для меня в одно: «правожительство»). Я запомнил фразу: «Скоро еврей уже не будет иметь права переходить улицу!».

Наш город был одним из немногих мест Российской империи, где никогда не было еврейских погромов.

Но в соседнем городе¹² погромщики останавливали прохожих, расстегивали им штаны, разыскивали «обрезанных», а в других областях вспарывали женщинам живот, вбивали в голову гвозди, пронзали ноздри, и где-то гремел рояль, сброшенный с пятого этажа, а в рояле лежал изуродованный, еще теплый труп пятилетней девочки...

О, мирная, серая русская инквизиция XX века, без аутодафе, без парада! Но насколько она богаче трупами, чем испанская!

Никто не говорил со мной об еврейской истории. Но передо мной часто возникал ослепительный мрак древности.

Уже в детстве, любя стихи больше, чем прозу, я запомнил наизусть лермонтовскую «Ветку Палестины», и эти строфы проникали в меня тайной матовой музыкой.

В девять лет я написал мое первое стихотворение (в подражание Байрону):

Мойсей, о, если б ты увидел
Позор народа своего!..¹³

Я с волнением читал детскую книгу «Освободительные войны» о борьбе итальянцев, негров, греков за свободу.

Я по-детски мечтал стать освободителем евреев.

Однажды в гостях у товарища я объявил: «Мы должны поднять знамя восстания!». Мальчика эти слова ошеломили и рассмешили. Когда я ушел, он передал их своей матери. В тот же вечер она прибежала к моей мачехе и с тревогой сообщила ей о моих опасных намерениях. Мачеха на меня рассердилась. «Видите, он всегда выдумывает такие глупости!» – с торжеством и злобной насмешкой воскликнула моя старшая сестра.

Возмущенный и мачехой, и сестрой, посягнувшими на дорогую мне тайну, я горько заплакал.

* * *

В нашем сарае висели кольца для гимнастических упражнений, и я представлял себе экзамены в виде золотых колец, на которых надо проделывать труднейшие акробатические трюки.

Кольцами оказалась пресловутая процентная норма, установленная для приема евреев в школы¹⁴, акробатикой – требуемая «круглая пятерка».

Этот первый «акробатический номер» я проделал.

В гимназии я провел восемь лет, и все эти восемь лет я был единственным евреем среди русских и греков моего класса.

Царские казенные гимназии были скорее казармами, учителя – самодурами и невеждами. Латинскому языку нас обучали самым схоластическим, варварским образом. Большинство моих соучеников оказались потрясающе бездарными в изучении латыни. За пять лет учебы они не смогли разобраться даже в склонениях и спряжениях. Прекрасный язык римлян был для этих варваров какой-то тарбарщиной. Но я полюбил его, даже вопреки этому чудовищному преподаванию. Для меня он звучал мужественно и стройно и вызывал в моем воображении южное море и мрамор. Я даже пробовал слагать стихи по-латыни...

* * *

После страшного поражения царской России в японскую войну, после разгрома революции 1905 года силы души и воображения ис-

кали выхода. Многие люди ушли в далекие, но узкие области «Красоты» и мистики. Расцвел русский символизм.

Из Петербурга на нашу южную окраину донесли неожиданные проникновенные стихи о Прекрасной Даме, о Египте, о Греции. Впервые в этой снежной стране раздались новые, почти чужеземные, сладостные звучания. В числе немногих местных гимназистов я упивался этими стихами.

В эти же годы я впервые прочел в подлиннике Бодлера и Верлена, и их мир сразу стал мне родным. Ведь я с детства знал французский язык и с детства был влюблен в его прелесть.

И вот под влиянием эпохи, в возрасте, когда больше всего мечтают о любви, я притворился перед самим собой равнодушным к трагическим событиям, даже к преследованиям, к истреблению евреев. Из нелепого снобизма я перестал читать газеты. Я намеренно закрывал глаза на все мерзости, преступления и ужасы царской России.

Я изнывал в моем городишке: словно магнит, меня притягивал Петербург. Ведь там, казалось мне, расцветало то, что я любил больше всего: поэзия. Там жил мой любимый поэт Александр Блок — «очарование символизма», как назвал его Иннокентий Анненский¹⁵. Там, по слухам, известный режиссер ставил странные, смелые спектакли. Передо мной вдали возникал целый особый мир, и он был не только русским.

* * *

Между тем сколько раз отец говорил мне: «О, если б я мог жить в Европе!». Он хотел оградить меня от будущих унижений в царской России... Он предлагал мне поехать, по окончании гимназии, учиться за границу. Может быть, он тайно помышлял поселить меня в Европе навсегда и когда-нибудь переехать туда самому, чтобы кончить жизнь в свободной стране.

Но сколько он ни убеждал меня, что все противоеврейские указы исходят именно из Петербурга, сколько он ни говорил об этом городе как о далекой, грозной, ледяной стране, — мое юное честолюбие влекло меня именно на этот Север, который я представлял себе не иначе как в обличье поэзии. Я рвался в эту неизвестность, в город, казалось мне, моей будущей славы: я был издали ослеплен им, словно бык — светом арены.

Учиться на чужом языке, жить вне России, вне поэзии, вдали от своих, среди чужих? Это внушало мне ужас.

А ведь передо мной был открыт весь мир: ведь я имел «право жительства» везде, кроме России, где я мог жить только в моем городе и в «черте оседлости». Вся остальная часть империи, огромное пространство, равное нескольким европейским странам, было для меня

запретной зоной. Провал. Зияние. Ни одного островка. Если меня примут в Петербургский университет, я получу право жить в Петербурге, в качестве студента, пока буду учиться, но уже в окрестностях я не буду иметь этого права. Между Петербургом и моим городом два дня и две ночи пути без права пребывания в каком-нибудь городишке.

Чтобы попасть в университет, я обязан был окончить гимназию с золотой медалью. После восьмилетней жалкой учебы я был принят в Петербургский университет, в числе сорока пяти иудеев на всю Российскую империю.

* * *

В Петербурге я впервые увидел вместо солнца кровавый шар, застывший в свинцовом небе. Я узнал, что такое дни, подобные затмению светил, дни эпилептиков Достоевского. Я узнал, что такое белесый туман в снежный парной день, когда фонари горят, как погребальные факелы. День? Скорее призрак дня!

В Петербурге впервые я почувствовал, как мороз режет пальцы лезвиями ножей.

Зимой, по ночам, среди улицы, у рдевших жаровен топтались городовые, дворники и курносые девки – полуженщины, получудовища.

Вдруг поднималась снежная метель. Бородатые извозчики, чтобы согреться, хлопали руками и внезапно, ни с того, ни с сего, принимались стегать лошадей и неслись во весь дух, и оралы, и переругивались, подбодряя себя матерщиной...

Об этом через много лет я сложил строфы в моем стихотворении «Полюс»:

Зевая, девки, дворники в ночи
Топтались у костров на снеге рдяном.
Ругаясь под полярным ураганом,
Друг друга обгоняли лихачи.
Отчаянье велело петь цыганам.
Нева!
Томительному действию оправа –
Льдов синева.
Найдет смертельных наслаждений право,
Кто потерял последние права!¹⁶

В апреле и даже в мае, когда почти в целом мире уже расцветала весна, здесь не возникал еще ни один цветок, ни один лист не зеленел на деревьях, а на Неве еще плавали грязные льдины.

Летом я узнал, что такое белые ночи. Я изнывал под белесым светом. Хотелось выйти на улицу, куда-то бежать, чего-то искать...

* * *

Я был болезненно потрясен безысходной серостью, уродством людей... Этот город был для меня чужбиной.

К тому же, хоть и имея право «права жительства», я, как большинство евреев, не был избавлен от гнусных мытарств в полиции.

Рабство настолько растлило самую душу евреев, что многим из них бесправие казалось вполне естественным; они даже не подозревали, что, не имея права жить в большей части своей родины, они тем самым сведены на уровень уголовных преступников, а обладание этим правом считали чуть ли не честью.

Я еще притворялся равнодушным к «политике», слепо шел по намеченному пути, но что-то во мне, наконец, восставало и тайно клочотало.

На этом Севере я с тоской помышлял о Египте, Турции, Сирии, Греции, Испании, Италии, юге Франции. И когда летом я приезжал в свой город, он казался мне какой-то полувосточной Италией, радостью, затерянной в России.

* * *

Между тем приближался день разбирательства дела Бейлиса¹⁷. Уже два года Бейлис томился в тюрьме.

Легенда о ритуальных убийствах евреями христианских детей была столь же гнусна своими кровавыми целями, сколь и своей пошлостью.

Над евреями нависло новое нелепое обвинение. После погромов 1905 года¹⁸ это была новая мерзость. Засмердел целый грязный мир. Время, казалось, вернулось вспять: больше, чем когда-либо, русский XX век показал свой настоящий облик: харю средневековья.

Зловоние этого запоздалого христианства стало невыносимым...

Огромная зевота омерзения. О, изблевать эту муку!..

За несколько месяцев до начала процесса¹⁹ я путешествовал по Италии. Издали царская Россия предстала мне во всем уродстве.

Теперь я уже читал газеты, с жадностью следя за ходом событий. Эти чтения производили на меня действие медленного яда. В Неаполе, в сияющей комнате, выходившей на море, я отбросил газету, как гадину. Заливы, лагуны, мосты, набережные, порты, холмы, горы, долины, колоннады, падающие башни, весь этот Юг, вся Италия, вся эта красота затмевалась моим юношеским отчаянием. Закаты на Фьезоле²⁰ были для меня щемящей тоской среди рая.

За три месяца моего пребывания в Италии я созрел больше, чем за все последние годы.

Я поехал обратно в Россию, как осужденный идет на каторгу. Но я вернулся к евреям, как блудный сын – в отчий дом.

* * *

De mes ennuis, de mes dégouts, de mes détresses,
Verlaine²¹

Дело Бейлиса стало для меня тем же, чем для некоторых французских евреев было в свое время дело Дрейфуса²²: своего рода откровением.

Столько лет я обманывал самого себя! Столько лет я предавал помыслы моего детства! Столько лет я словно спал, и вот, наконец, проснулся!

И мало-помалу я с ужасом почувствовал, что ненавижу такую Россию, что, может быть, тайно, не признаваясь самому себе, я уже давно, всегда ее ненавидел и что *надо* ее ненавидеть.

Казалось, впервые я распознал то, что поразило меня в самое сердце, что перерастало и мою личную боль, и трагедию целого племени.

Эта ненависть меня как бы очистила: ведь впервые я искупал мое многолетнее равнодушие, мое себялюбие, мой обман, мой самообман.

Но эта же ненависть меня сжигала, леденила, превращала в истукана. Она стала для меня трагической необходимостью, вызывала во мне чувство небытия.

Это трудно объяснить словами... Только обрывками мыслей, разрозненными заметками я, может быть, смогу передать эту боль.

Годами я об этом молчал, скрывая это, как язву. Ведь с детства у меня была жестокая для самого себя привычка не говорить до конца о том, что меня мучило, и замалчивать то, что мучило меня больше всего. И, взрослый, я избегал или не мог говорить в стихах о моей главной муке. Но теперь я знаю, что обнаружить ее, значит защищать правое дело, что в ней сущность моей юности, что не надо ничего придумывать, а надо сказать даже самую нелестную для себя правду.

Сначала у меня не было отчетливых мыслей. Я старался разобраться в них, расшифровать их тайны. Я искал разгадку моей судьбы в музыке.

Музыка возносила мою ненависть к вершинам великолепия. В музыке мне открывалось, что моя участь непоправима.

Это омерзение, негодование, ярость составляли для меня своего рода поэзию.

Раньше область стихов была для меня убежищем, и вот это последнее убежище осквернено царской Россией.

Ведь язык – некая броня, которая предохраняет поэта от натиска внешнего мира. И вот эта броня оказалась неверной защитой.

Ведь язык – оружие, мое единственное оружие. И вот я обезоружен. И это оружие обращается против меня самого.

* * *

Сначала я с ужасом почувствовал, что больше не хочу писать на русском языке. О, если б я мог выразить себя, сказать всю правду о себе в музыке!

Я стал завидовать композиторам: ведь у них единый международный язык – музыка.

О, страшная сила, которая так жестоко связывает меня с этой страной!

Язык!

Писать по-русски? Не преступление* ли это против гонимых Россией евреев?

Если бы я мог разорвать эту связь! Не писать больше по-русски, писать на другом языке, для других людей! Вот самое решительное средство!

Порвать? Бежать? Но ведь здесь, в Петербурге, был для меня очаг поэзии. Потерять его, погибнуть в пустоте? Нет, как всякого человека, пустота меня ужасала.

Итак, я оставался пленником этого Севера.

Мне хотелось избавиться от моей неотступной мысли. Но она тоже гнусно связывала меня с царской Россией. Ведь боль приковывает нас к причине нашей боли.

Иногда я гордился этой раной, этой ненавистью, этим негодованием.

Иногда я стыдился их.

Иногда я с ужасом допытывался у себя самого, не преступник ли, не изменник ли я.

Я терпел эту боль, как терпят болезнь. Я готов был считать ее манией, навязчивой мыслью, душевным расстройством. Уж не сошел ли я с ума? Уж не выдумал ли я эту пытку? А что если это стилизация? Я сомневался даже в собственной искренности.

Но что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая.²³

* * *

Я метался в поисках родины.

Равнина, плоскость, небытие грязного цвета!

Прочь отсюда! Жить в другой стране!

Для меня Юг и Восток были не только обычной приманкой, но и некоей, чуть ли не мистической областью, убежищем, наградой, спасением.

Я иступленно твердил стихи Блока:

* В рукописи есть и второй вариант: «предательство».

Но за вьюгой – солнцем юга
Опаленная страна!²⁴

Растения, плоды, запахи, цвета, музыка Юга и Востока! Ведь это вас я всегда любил, это вас я принялся любить с новым жаром, с новой тоской!

* * *

Я мечтал не о Европе, а о Востоке. В воображении я представлял себе евреев неискаженным восточным племенем, а Палестину – сияющей страной.

О, если б я мог писать по древнееврейски! Ведь на этом языке звучит целая поэзия и в наше время, поэзия великого Бялика²⁵.

Но я не имел тогда ни малейшего понятия о языке моих предков.

И вот впервые в жизни я принялся его изучать.

Моим путеводителем по Леванту стала книга французского поэта Жерара де Нерваля «Путешествие на Восток»²⁶.

Приглашением к путешествию прозвучал для меня стих Катулла:

Ad claras Asiatic volemus urbes
(Полетим к светлым городам Азии)²⁷.

Туда, в ослепительные, казалось мне, города Востока! Вернуться в потерянный рай!

* * *

Между тем весь мир уже созрел для войны. Не только в газетах, но и в оркестрах уже слышалась война.

Тем не менее, в июле я отправился в Палестину.

В Константинополе мне пришлось сесть на русский пароход.

Обнаружилось, но слишком поздно, что в I и II классах он везет в Палестину русских православных паломников: священников, семинаристов, чиновников и студентов – членов черносотенного «Союза Михаила Архангела»²⁸, а в III-м неимущих евреев-беглецов из царской России, стремящихся работать в еврейских колониях в Палестине.

Между верхней и нижней палубой, казалось, зияла бездна.

Матросы усердно следили, не проникают ли пассажиры III класса на палубу II, и загоняли их обратно.

Однажды более жалостливый матрос подвел к судовому врачу пассажира III класса – старого еврея, у которого болел зуб. Старик просил дать ему йод. Врач с досадой и отвращением отмахнулся и приказал матросу увести еврея обратно. Укоризненный взгляд старика не вызвал у врача никаких угрызений совести.

Очередной новостью этого плаванья было происшествие на палубе III класса: матрос окатил помоями еврейскую девушку. Но во II классе и это не произвело впечатления...

Там занимались делами поважнее.

Каждое утро мрачный студент-черносотенец подходил под благословение архимандрита.

Однажды какой-то священник стремительно забегал по палубе. Проходя мимо пассажиров, он быстро взволнованно восклицал:

– С Полтавской победой!

Сначала я даже не понял, в чем дело, потом вспомнил, что в этот день, действительно, годовщина Полтавского боя²⁹.

Мы плыли в нежной мгlistой синеве Архипелага, а воздух оскверняли слова: «Смутьяны... Государственная Дума... Царь!..»

В этой компании я чувствовал себя окруженным трагическими нелепостями. Я говорил только с молодым сирийцем-мусульманином, который возвращался на родину, в Бейрут, из Парижа, где он учился.

С ним у меня было общее – французская культура.

Мы беседовали по-французски. Узнав, как он любит Париж и даже свою школу, я был поражен: ведь я так привык ненавидеть и Петербург, и университет, что даже не представлял себе, как можно любить город, где учишься.

Заметив, что я дружески беседую с мусульманином, какой-то русский чиновник намеренно громко сказал священнику:

– А Храм Соломона, небось, теперь мечеть Омара!..

Сирийцу нравилась жена капитана; поэтому он старался болтать с ее племянником-гимназистом. Кое-как они объяснялись. Они говорили о войнах. Когда сириец упомянул о поражении России в японскую войну, мальчуган «патриотически» возразил:

– Да ведь казакам тогда некогда было: надо было устраивать еврейские погромы...

Эта компания так мне надоела, что я решил поскорей покинуть это плавучее гнездо черносотенцев и сойти на берег в ближайшем порту.

Мы подплывали к Бейруту, городу, заманчивому для меня тем, что здесь Жерар де Нерваль впервые встретил и полюбил дружскую девушку Салему.

Я решил остановиться здесь, не доехав до Яффы.

* * *

Я сошел на берег вечером, еще пьяный от дрожи парохода. Набережная, острый запах цветов, музыка, все это показалось мне волшебным.

Но днем я все больше узнавал печаль восточных городов. Я проходил сквозь длинную меланхолию набережных, которые воскресают только к вечеру после целого дня медленной смерти; порт задышался вместе со мной, а небо превращалось в пепел, и только из-

за оград чуть пробивалась нежность, скрытая в благоухании жасмина.

Днем мне случалось заглушать мои черные печали черным сном, чтобы забыть свою ненависть, чтобы выбраться из лабиринта сомнений и сожалений, чтобы избавиться не только от России, но еще от самого себя.

И через много лет я вспомнил об этом в моих стихах:

Я внезапно, днем, ввергнут был в сон и простерт,
Я в арабской гостинице спал гробовым истуканом...³⁰

Ночью, на стеклянной веранде гостиницы Hôtel de L'Univers, окруженной сиянием вод, я оживал среди моря.

Издали уже доносился гул, и такой звучности прибоя я еще не слышал нигде; вот огромный вал приближается и глухо ухает в деревянные сваи террасы, раздирая морскую ночь. И среди этого гула вдруг, на мгновение, шелканье кастаньет и обрывки французской песни:

Nice est en folie,
C'est le jour du carnaval...
(Это безумствует Ницца,
Это карнавалый день...!)

Так поет женщина, недалеко от моей гостиницы, во франко-сирийском кафешантане.

И от щемящего припева сжимается сердце...

* * *

Я проник еще в другие ночи, в глушь, в Баальбек³¹, где когда-то побывал Жерар.

Меня пронзили сквозняки Антиливана³², которые дуют по ночам в горах и сожженных пустынях, где еще валяются огромные колонны, обломки Храма Солнца...

Не успел я вернуться в Бейрут, как однажды на набережной я увидел: во все стороны бегут арабские мальчики и, что-то выкрикивая, продают печатные листки.

– Белград в огне!³³ – сообщил мне хозяин гостиницы.

Война была объявлена. Но Турция, которой тогда принадлежала Сирия и Палестина, еще не выступила.

Я решил не отказываться от цели моей поездки и отправился на пароходе в палестинский порт Яффу.

Палуба была полна европейцев. Я услышал странный дуэт: француз пел «Марсельезу», швейцарец – гимн своей страны. Полулежа в шезлонгах, муж и жена приподнимались и бросались друг другу в объятия.

Эти европейцы возвращались на родину, чтобы вступить в армию. Мне казалось, они счастливы. Ведь у них есть родина.

* * *

Дикое море бросалось на прибрежные камни. Открывался арабский городишко Яффа.

За ним белел еврейский город Тель-Авив – Холм Возрождения.

Я очутился в трагической среде беглецов из царской России – евреев, проклинаящих так называемую родину.

Здесь жили жаждавшие просвещения безграмотные юноши, которым царская Россия отказала в праве на образование, старики, изуверенные в погромах, целые семьи, изгнанные из родных городов.

Здесь жила девушка, одержимая мыслью родить мессию – избавителя евреев.

Здесь, в еврейских колониях, юные земледельцы и виноградари самоотверженно работали во имя возрождения древней страны.

Но даже здесь, в стране своих предков, эти беглецы были окружены врагами – арабами. И те, и другие были несчастны.

На каждом шагу я встречал жалких арабов, пораженных глазными болезнями, – циклопов и слепцов.

У ворот Тель-Авива араб выставлял на лотке финики, над которыми взвизывались целые полчища мух, но облепленный ими торговец невозмутимо ковырял в носу.

По улицам Тель-Авива торжественно шагал безносый араб с корзиной в руке и выкрикивал на идиш: «Бананес! Бананес!»

На пустынном песчаном пляже арабские проститутки непристойными жестами зазывали прохожих в приморские бордели.

По ночам, у самого города, в пустыне рыдали шакалы.

Но где-то в стороне от дороги между Яффой и Тель-Авивом, на закате, представляли огромные финиковые пальмы.

Сквозь пыль, и нищету, и ненависть кое-как приоткрывался древний, недоступный для меня рай... А там, у стен Иерусалима, блаженно лиловели Иудейские горы.

Палестина! Ведь я давно любил две строки Фета:

Я плачу сладостно, как первый иудей,

На рубеже земли обетованной.³⁴

Но не эти стихи о счастье мог бы я применить к себе в Палестине, а горестные слова Жерара де Нерваля:

«Как пророк, наказанный Богом, я останавливаюсь на рубеже обетованной земли...»

* * *

Ведь то, что было мне дорого – поэзия и, в частности, русская поэзия, – было здесь не только не дорого, но и неизвестно многим из этих беглецов; некоторые даже не подозревали об ее существовании;

в России они знали только городских и хулиганов и считали всех русских погромщиками.

Вот почему этим не обрусевшим евреям было легче, даже естественней ненавидеть Россию, тогда как мне...

Я был и здесь чужд еврейскому народу, а, может быть, и недостойн его.

Как всегда, чудовищно себялюбивый, погруженный в хаос своих мыслей и чувств, я тщетно боролся с самим собой.

Я еще не признавался себе, что у меня меньше любви к евреям, чем отвращения к царской России.

Слушая древнееврейский язык, воскресший в Палестине, я все-таки чувствовал его недостаточно родным и сознавал, что не смогу писать на нем, по крайней мере, в ближайшие годы. (А на каком же языке писать сейчас?)

Но это путешествие получило для меня неожиданное значение. Я убедился, что на всем Ближнем Востоке местные жители и, в частности, потомки испанских евреев – сефарды, говорят и учатся на французском языке. В этом распространении французской культуры поистине было величие.

Мне открылся спасительный выход: возможность, хоть в будущем, писать стихи по-французски, на языке, который я знал и любил с детства.

«Так я смогу быть полезен и левантинским евреям, которые не обезображены преследованиями», – решил я.

Наконец, вдали от Европы, больше, чем когда-либо, я почувствовал себя европейцем и осознал, что был им всегда. И впервые я испытал необходимость поселиться в Европе, то есть поступить именно так, как мне давно советовал отец.

Итак, я отказался («пока») от моего желания писать по-древнееврейски. Но у меня уже не было доверия к самому себе, и мое новое стремление я тайно считал уже новой химерой.

Все больше я отрывался душой от Палестины. И к моему удивлению, в этом благодатном климате мне даже доводилось вспоминать, как нечто родное, снега России: они возникали в невиданном блеске.

* * *

Между тем уже в самом начале войны в Палестину дошли известия о новых еврейских погромах в России: на этот раз громила царская армия.

Сначала я не хотел этому верить. Дело Бейлиса казалось мне пределом еврейских бедствий. Но известия и слухи распространялись, повторялись, подтверждались. «Ну, теперь казаки перережут всех жидов!» – с восхищением сказал на чистейшем русском языке

православный араб, сторож при русском монастыре. (Это было у гроба Девы Марии в Вифлееме.)

Получился и еврейский журнал, выходявший на русском языке в Петербурге. И на полях, рядом с вынужденной горькой фразой о готовности русских евреев выполнить свой долг перед родиной, какой-то палестинец написал по-древнееврейски: «Стыд и позор!»

* * *

Я был оглушен. Что делать? Куда ехать? Я был чудовищно одинок. Во всяком случае, я больше не мог оставаться в Палестине.

Наконец я получил возможность выехать на итальянском пароходе, который шел в Константинополь...

За время моего путешествия я лишний раз убедился, что царская Россия ненавистна всем народам Востока: мусульманам – как первый враг Ислама и Турции, который только и мечтает, как бы превратить Айя-Софию в православный собор; евреям – как страна инквизиции и небывалых погромов, и даже пресловутым «братьям-славянам» – болгарам, как огромное чудовище, готовое поглотить их маленькую страну и назвать ее Задунайской губернией.

На пароходе, услыша, что пассажиры-евреи говорят между собой по-русски, человек в феске, турецкий еврей из Смирны³⁵, с негодованием воскликнул по-французски:

– Да как вам не стыдно говорить на языке такой страны?..

Мы уже приближались к Смирне. Я уже мечтал увидеть экзотические места. Как вдруг, едва мы подошли к порту, загревели залпы, раздался взрыв, и на наших глазах турки потопили свое торговое судно, чтобы не отдавать его английскому миноносцу. В этот день Турция вступила в войну. Кто-то крикнул по-итальянски в рупор: «*Via subita!*»³⁶ И, не останавливаясь в Смирне, наш пароход переменил курс и стремительно направился в болгарский порт Дедеагач.

* * *

Глухой осенью я проезжал по грязным размытым дорогам Болгарии.

Душевное напряжение неизбежно должно было чем-то разрядиться. Даже нелепейшее решение лучше гражданской войны моих мук. Во всяком случае, невозможно больше пребывать в этом одиночестве. Пока у меня больше не было сил пуститься в новое путешествие, отправиться во Францию! Куда деться? К какой цели идти? Пробовать писать по-французски? Я страдал даже от этого желания, от этой новой химеры, от новых предстоящих усилий, от новых далеких возможностей. А что если не вернуться? Стать дезертиром? Быть исключенным из университета, потерять пресловутое право жительства?.. Но ведь как раз теперь я овладел русским стихом. И

мне хотелось прочесть другим мои новые стихи, которые вырвались у меня почти помимо воли...

И вот в минуту крайнего томления, охваченный каким-то неистовством, я решил...

Вернуться в Петербург! Вернуться немедленно! Кратчайшим путем! Лишь бы эта попытка кончилась!..

И тут же я убедил несколько <так!> спутников поехать кратчайшим путем. Так как прямого сообщения по железной дороге не было, я решил поехать через Балканы лошадыми. В разгар осени мы проезжали через жалкие грязные деревни. Это путешествие продолжалось три дня и три ночи. Иссеченный дождями, обветренный, с красными веками, облупленными губами, провалявшись ночью на каменном полу дымных болгарских лачуг, я наконец доехал до ближайшей железнодорожной станции и оттуда через Румынию достиг пределов Российской империи.

Граница! Казалось, за мной захлопнулась дверь тюрьмы.

* * *

– ...Это, брат, тебе не Индия! Холод лютый. Да и жандарм сразу налетел, – горько говорил в поезде русский моряк, вернувшийся с острова Цейлон.

* * *

Мы ехали все дальше на Север... Кишинев. Киев. Уже веяло резней.

– ...Эх, ваш Петербург ничего не стоит, не русский город. Вот у нас, в Киеве, было дело Бейлиса, – с гордостью объявил в вагоне-ресторане почтенный господин щеголихе, одетой в костюм сестры милосердия.

– Да, я так жалею, что не успела сходить на могилку бедного Андрюши Ющинского, умученного жидами! – со вздохом ответила она.

Приятное возвращение на родину, нечего сказать!

* * *

Наконец, ноябрьским утром, когда кровавое солнце стлыо в свинцовом небе, я приехал в Петербург.

Слухи о еврейских погромах, учиняемых казаками, конечно, подтвердились.

Но об этом нельзя было ни писать, ни громко говорить.

Царская полиция все больше свирепствовала. Евреев, вернувшихся из-за границы, вызывали в «участок», подвергали наглým допросам, и многих, даже имеющих «право жительства», высылали из столицы по этапу.

– У нас теперь война! – грозно орали приставы со скобелевскими бакенбардами³⁷. – Вы знаете, что у нас теперь война?

* * *

Между тем события стремительно развивались. Царская армия терпела поражение за поражением.

Тем не менее некоторые рифмачи слагали жалкие «патриотические» вирши. Один известный поэт молодецки прославлял царя³⁸. Другой выпустил книжонку шепелявых стишков «Памятник славы»³⁹ как раз через несколько дней после страшнейшего поражения царской армии.

Памятник славы? Нет, скорее памятник позора!

«Уже смердит», – отметил в своем дневнике Блок, упоминая о литературной среде тех лет⁴⁰.

Миллионы людей прозябали в гнили. Миллионы людей заживо гнили и сами были гнилью, и даже не подозревали, что они – гниль.

* * *

Предатели-министры и высшие чины Генерального штаба продавали свою армию и страну немцам и хладнокровно вели солдат на убой. Евреями они пользовались как громоотводом. Если еще за несколько месяцев до войны царское правительство разжигало ненависть к евреям, объявив их убийцами христианских детей, то теперь оно объявило их изменниками «святой Руси». Миллионы русских евреев были превращены в некоего единого Дрейфуса.

Всем своим мобилизованным подданным – в том числе католикам, протестантам, мусульманам, иудеям, буддистам – царское самодержавие нацепило на фуражки и на папахи металлический крест с надписью «За веру, царя и отечество».

Лишенные обычных человеческих прав, евреи, однако, должны были нести все обязанности и раньше всего отбывать воинскую повинность, идти на смерть за «святую Русь».

Как? Валяться во вшах, в моче? Убивать людей за поповский крест, за мошну купчины, за кнут, который вас стегает?..

Служить в царской армии было бы для меня равносильно позорнейшей пытке.

* * *

Еврейских бедняков изгоняли из прифронтовых губерний, увозили в товарных вагонах, помеченных надписью «40 евреев, 8 лошадей». На этих отверженных тяготело проклятие; запрещено было оказывать им помощь. Случалось, что губернатор той области, куда их направили, не желал их принимать и отсылал обратно. Тогда первый губернатор возвращал их второму, и оба принимались играть в

мяч, пересылая друг другу «внутренних врагов»⁴¹. Так в этих подвижных тюрьмах перевозилось мясо для погрома.

Только через несколько лет я сумел написать об этом стихотворение:

ВЫСЛАННЫЕ

Впвалку и по накладной!
 Евреи в вони скотского вагона
 После резни очередной.
 Вот где цвести вам, пальмы Соломона!
 Тупеет взгляд и память похорон
 В изгнаныи поездов острожных.
 «Не выходите на перрон
 При остановке неблагонадежных!»
 Чередованье рвот
 Родильного-молитвенного дома.
 Среди болот
 Ковчег с начинкой мяса для погрома.⁴²

* * *

– ...Есть ли у вас стихи французского поэта Малларме? – спросил я в книжном магазине.

– Дайте мне книгу Лютостанского «Об употреблении евреями христианской крови»⁴³, – громко, торжествующе сказал рядом со мной какой-то чинуша.

* * *

– ...Ну и вешаем же мы их!.. У-ух! Прямо красота! – ни с того, ни с сего брякнул однажды офицер.

– Кого это?

– А жидов!..

Да в конце концов, с кем воюют русские? С немцами или русскими евреями? – спрашивал я себя.

И правда, вешать на фонарях безоружных евреев куда легче, чем бороться с вооруженными немцами.

Случалось, что раненых солдат-евреев уже не принимали в госпитали.

Итак, перед солдатами-евреями по ту сторону окопов сидел враг-немец, а по эту сторону, рядом – враг-русский.

Жить на родине словно в стане врагов? Да что война по сравнению с этой вечной, каждодневной борьбой?

И что война вам, выходцы из нор,
 Каторжные жильцы Мертвого Дома,
 И вам, дышавшим льду наперекор,

И черепу с зашитым следом лома,
И всем, преодолевшим свой позор?
(«Полюс»)⁴⁴

Так пусть же над погромщиками прогремят потрясшие меня в тот год стихи из «Ямбов» Андре Шенье:

.....
Чтоб каждый мерзостный палач
Затрепетал, узнав себя в изображенье,
Чтобы сплести в самом аду
Неотвратимый бич, треххвостый бич отмщенья
И броситься на их орду,
И лбы их заклеить, и воспеть их гибель!..⁴⁵

* * *

Мне было стыдно, что я не могу бороться за освобождение евреев, мстить за их истребление. (Ведь мне нужна была борьба в стихах.)

Во мне клокотали силы негодования, силы, которые могли бы вылиться в медные стихи. Но это были бы стихи против России, против ее косности, уродства, невежества, тупости, жестокости и всех ее преступлений.

Писать по-русски стихи против России? Этому мешала какая-то таинственная власть (и сам язык). Да и можно ли быть поэтом страны, которую ненавидишь?

* * *

О, как я жалел, что вернулся в царскую Россию, что не поселился в Египте! Только теперь я узнал, что там люди всех наций говорят и читают по-французски, а в России, отделенной от романского мира Германией, об этом даже не знали.

Я уже с тоской вспоминал пальмы.

Если в Палестине я страдал от справедливой ненависти местных евреев к их мачехе-России, то здесь, в Петербурге, я возмущался равнодушием многих евреев-интеллигентов к судьбе своих соплеменников, загубленных царской армией и новой инквизицией. Особенно гнусны были мне верноподданнические устремления этих столичных привилегированных людей. Ведь они никогда не выходили за пределы своего мирка, они и не подозревали о возможной свободе, не знали или не хотели знать страданий еврейских бедняков. Они знали и любили только свой Полюс.

Жить по-прежнему здесь? Утешаться, подобно этим высококультурным интеллигентам? Опять это женственное существование? Опять театры, студии, лекции, концерты «серьезной» классической, конечно, немецкой музыки?

Быть так называемым лунным человеком, равнодушным к бедам народов и к бедам своего народа? Так вот, я не мог стать таким. Меня это отвращало.

Поэт не может, не смеет оставаться равнодушным к таким бедам, к таким низостям.

* * *

Столько лет погибло в гнусной муштре, в бездарной школе!

Итоги моей жизни в Петербурге: отвращение к русской университетской учебе, убеждение в ничтожестве царского профессора⁴⁶, в лживости легенды о революционном студенчестве, разочарование в русской культуре.

И подумать, что вне России русский язык – непонятная тарабарщина, русский алфавит – собрание неведомых знаков, русские стихи – небытие.

* * *

С новой силой зазвучали для меня вопли гнева и негодования против царской России – давно знакомые слова Пушкина: «Черт меня догадал родиться в России с душой и талантом!»⁴⁷, слова Тютчева: «В России все – казарма, канцелярщина и кнут»⁴⁸, запись Лермонтова в книге для проезжающих: «Российский дворянин Хам Чурбанов», его стих: «Чужой в родном крае» и

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ!

Тогда я еще не знал формулы Ленина: «Такую родину честный человек не может любить!».

* * *

Столько лет в этом городе я, как поэт в блоковской «Песне ада», был

Томим волной безумного напева!

Я с ужасом почувствовал, что первые годы моей юности уже прошли, что не в этой стране надо было мне родиться. Меня пронзали болью и щемящей тоской стихи Тютчева:

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем.⁴⁹

Однажды я открыл наугад «Тристии» Овидия, и меня поразил стих, определяющий мою участь:

Наес est in roenam terra reperta meam.
(Да, в наказание мне эта открыта земля!).⁵⁰

* * *

Между тем германская армия углублялась в пределы Российской империи, и даже петербургским евреям стала угрожать высылка из столицы. По всей стране трижды пронесся слух об этой новой гнусности. Казалось, время вернулось вспять. Даже перед самыми трезвыми, невозмутимыми людьми вставал призрак инквизиции. «Это кончится Испанией», – говорили они. 1492 год – год изгнания иудеев из Испании, – казалось, воскрес в 1915 году, в Петербурге.

* * *

Неужели евреи терпели и терпят столько бедствий только для того, чтобы жить здесь, у Северного полюса? Пройти через сотни веков только для того, чтобы так мучиться?

И подумать, что я сам терпел и терплю столько гнусностей лишь для того, чтобы завоевать право жить именно здесь! И все это во имя поэзии? Вот что значит «для звуков жизни не щадить»!

* * *

Ведь собственной рукой я заточил себя в эту тюрьму, ведь уже давно царская Россия стала для меня тюрьмой.

И все острее я чувствовал, что цель, ради которой, ценой стольких усилий, я поселился в Петербурге, уже не существует. Значит, оставаться здесь – нелепо. Ведь я все еще шел по когда-то намеченному пути, словно приведенный в движение автомат.

* * *

Я стыдился быть хоть отчасти русским, иметь хоть какое-то отношение к царской России.

Прочь отсюда! Полжизни за то, чтобы не родиться здесь!

– Первая половина моей жизни загублена! – отчаянно повторял я.

– Надо спасти вторую!

– Это будет моя *vita nuova* – новая жизнь!

* * *

И вместо того, чтобы хоть кое-как облегчить участь евреев, бороться против войны, я помышлял только о завоевании свободы для своей поэзии. Старался забыть родной язык, читать и писать стихи только по-французски, уехать во Францию, избавиться навсегда от всяких обязанностей по отношению к России.

* * *

И вот, впервые за мою жизнь, несколько моих русских стихотворений заслужили одобрение поэтов, которых я ценил. Так, именно в этот инквизиционный год, я на мгновение почувствовал под ногами твердую почву и, казалось, мог утвердиться в этой стране гонений.

– Ведь все-таки здесь половина моей жизни! – отчаянно восклицал я.

Вырвать из родной почвы растение? А ведь мне надо было вырвать себя из почвы России, из почвы поэзии!..

Но наконец мне удалось оторваться от всего, что меня здесь удерживало, и выехать за границу.

* * *

Чтобы попасть из Петербурга в Париж, в те годы был единственный путь: Стокгольм – Берген – Ньюкестль – Лондон.

Я остановился в Стокгольме.

Простертый в постели, я не знал, сплю ли я или бодрствую, день это или ночь...

Конечно, выехав из царской России, я избежал инквизиции, но самого себя я не избежал. Опять моя судьба представилась мне неоправдываемой. Я исходил ненавистью. Она была сильнее меня.

Казалось, война происходит во мне самом. Я сам служу полем битвы. Действительность исчезла. *Russia delenda est!*⁵¹ О, если бы она никогда не существовала! Если б этот кровавый хаос никогда не возникал! Если б я мог его уничтожить! Стереть с лица земли!

И вот вся эта страна, весь мир предстал мне грудой обломков пепельного цвета. Но это разрушение меня не радовало: под этими развалинами погребены последние остатки моей любви к России, мое детство, моя обезображенная юность.

III

Как впервые предстал мне Париж?

Ночь. Зловещий вокзал Сен-Лазар и соседние улочки, кишашие проститутками.

Первую парижскую ночь я провел в маленькой гостинице на улице Амстердам. Узкая черная улица. Солдаты и проститутки. Проститутки и солдаты. И решетки на чугунном мосту, словно решетки на окнах тюрьмы...

В серые парижские утра веет какой-то сырой дым, еще серей серости. Трудно дышать. «Да ведь это не лучше Петербурга», – подумал я с тоской и отвращением. Облезлые дома Латинского квартала иссечены дождем. Сырость пронизывает до костей, до самого сердца. В Париже небо редко бывает синим. Оно всегда тусклое и дымное. Латинский квартал? Неужели это и есть латинский рай?

По вечерам Библиотека Сент-Женевьев⁵² со своими похоронными лампами висится мрачная, как морг. Стены на улицах Турнефор и Ломон не веселей тюремных стен...

Значит, недаром в детстве я представлял себе Париж по «Богеме»⁵³ – первой опере, которую я слышал в театре моего родного города. В декорациях Латинский квартал был грустен, как и в действительности.

Снега России, дожди Франции! Холодно, сыро на этом свете!..

* * *

Моя комната в пансионе Мобэр*, как и все комнаты, выходявшие во двор, была совсем маленькой. Почти треугольной. Скорее каютой, чем комнатой. Но в окно было видно не море, а двор. Глубокий узкий двор. Вернее, колодец.

Со дна таких колодцев иногда по утрам доносится глухое пение. Дрожанием голосом нищий старик пытается спеть «Когда цветет вишня...». Старика не видно, но чувствуешь, его ноги дрожат, как и голос. «В последний раз пропел соловей...» – раздаётся заключительный стих старого романса. В тишине колодца звякает мелкая монета, и слышится слабый возглас: «Спасибо, месье-дам!»

А этот пансион! Эта гостиная с красными гардинами! До и после обеда граммофон завывает танго «Под солнцем Аргентины».

Я еще никого не знал в Париже.

Когда по вечерам я спускался в гостиную, одиночество еще больше удручало меня среди пустой болтовни жильцов.

Изгнание. Добровольное? Может быть, но все-таки изгнание.**

* * *

Неустанно сотрясаемый орудийными залпами парижский воздух менялся в составе. В неумолимом однообразии, черные ливни хлестали людей. Дождь! Унижение! Невидимый слабому человеческому зрению, некий огромный зверь мочился сверху и презрительно забрызгивал людишек. Сирены тревоги неистово завывали. Радуюсь лютот сырости, жирные крысы нагло перебежали улицу, попискивали, перекликались и ничуть не смущались присутствием человека.

Париж был погружен во мрак.

Нарядившись в траур, так называемые «военные вдовы» рыскали в поисках клиентов.

В нескольких часах от Парижа, обезглавленные бомбами, солдаты автоматически продолжали бежать в атаку.

Искалеченный на войне, одноногий акробат проделывал первоклассные трюки в цирке Медрано⁵⁴ ...

И вечно романтические ночи.

* Единственный в рукописи случай написания «Мобер» через «э». – Публ.

** Эта строка вписана карандашом. – Публ.

В пустынной тьме бульвар Сен-Жермен тянулся черной прямой линией. Все стыло, все каменело, без шума, без блеска, под зеленою каштанов, при гробовом свете газовых рожков.

Вдруг вдали появлялось некое существо.

Скорее размалеванная, чем покрашенная, наверно, воняя нафталином, женщина в шляпе, отороченной мехом и съехавшей набок, волочила шлейф окаменелого платья; в определенный час она появлялась, словно приведенная в движение неизвестной силой. Ее охотно оспаривали бы друг у друга Гофман, Бальзак и Бодлер.

Если во мраке к вам пристает безликая женщина, зовет хриплым голосом и звякает ключами от своей каморки, и дергает головой, как лошадь, разве вы испугаетесь?

Но этот автомат небывалой марки к вам не обращается: она корректна и молчалива в невыносимой тишине когда-то оглушительной столицы.

Конечно, вы остановились. Уже на большом расстоянии, она почувствовала ваш взгляд. Готово! Она повернулась и тем же невозмутимым шагом направляется к вам.

Но если вы даже и любовались истуканами и чудовищами в музеях многих столиц, вы не захотите очутиться лицом к лицу с этой куклой, не то живой, не то мертвой. Она казалась вам немой, вы не захотите услышать ее голос.

Этот бродячий автомат появлялся на парижских улицах в 1915 – 1918 годах. Может быть, таких автоматов было несколько. Они появляются еще и теперь.

* * *

Все чаще после ужина, когда жильцы пансиона уже ложились спать, вдруг вдали раздавался омерзительный визг, гнусное улюлюканье. Казалось, это разражался рыданиями и отчаянно завывал в пустыне шакал. Или дервиш-эпилептик бился в судорогах, испуская нечеловеческие вопли. Или огромная заводная игрушка открывала пасть и по несколько раз подряд с ревом высовывала длиннейший язык.

У-у-у!

По бульвару Сен-Жермен стремительно пронеслся автомобиль с фарами, завешенными зеленым абажуром. Гнусное улюлюканье раздавалось все сильней, раздирало слух, протяжно несло за автомобилем и мало-помалу исчезало во мраке. Вестник несчастья призывал, возвещал, предупреждал, угрожал: «Спасайтесь! В подвалы! В подвалы!»

Не знаю, почему это улюлюканье вызывало в моей памяти фразу Цезаря, запомнившуюся мне с гимназических времен: «Galli ululant» («Галлы улюлюкают»)...

– Скорей! – орала женщина. – Тушите! Боши! Б-б-боши! Скорей! Скорей! Свечи! В подвал! В подвал!

На всех четырех этажах пансиона хлопали двери. Полуодетые, обезумевшие женщины выскакивали из комнат. Все стремительно бросались в погреб, весь дом пустел и погружался в темноту.

Над Парижем появлялись немецкие цеппелины⁵⁵.

* * *

Народы, заживо погребенные в окопах, состязались в терпении.

Дни, месяцы, годы проходили под знаком войны. Жизнь в тылу стала для меня повседневным существованием. Я привык к пансиону Мобер. Я почти вошел в его жизнь.

Хозяин, «валявший дурака»; его «дружок» Альфред (дамский портной и, так сказать, «певица» в свободные часы); мадам де Стрелкофф (старушонка с «царственной поступью», влюбленная в Мобера); мадам Обье (охотница за мужчинами); баронесса (маленькое, вечно суетливо чудовище); Жаннетт (плаксивая развалина, пропитанная эфиром); ее друг-бельгиец (полуевнух); Савиньи (мрачная башня, отпускающая колкости, достойные швейцара) и десятки других героев составили смачный ансамбль.

Это перечисление может создать целую поэму, как имена красавиц составили знаменитую вийоновскую «Балладу о красавицах былых времен».

* * *

Трюки и мании всех этих жильцов уже не составляли для меня тайны.

Я знал, что мосье Мобер особенным образом жует губами, чавкает за обедом, любит рассказывать о своих похождениях, повторять историю раненого бельгийца, богохульствовать и поддразнивать влюбленную в него старуху Стрелкову.

Я уже знал, что Савиньи, придя со службы, ложится на кровать и с тупым унынием поет все те же несколько тактов, мелодию которых невозможно уловить.

В каком-нибудь провинциальном городишке часы на башне играют одну и ту же песенку. Савиньи (эта живая башня) не уступал им в однообразии.

Жители северных стран представляют себе итальянцев живыми, веселыми, добродушными. Мрачный, подавленный или язвительный Савиньи их бы разочаровал.

Я знал, что за обедом он все-таки иногда оживляется и повторяет слова правительственного объявления, ставшие мюзикхолльной песенкой:

Молчите,
Остерегайтесь,
Вас подслушивает враг!

или жалуется на свою соседку по комнате: эта грязнуха-румынка с всклокоченными волосами упражняется во французской дикции, каждый день декламирует Расина и мешает отдыхать. А ведь, как добрый буржуа, Савиньи презирал поэзию и, как добрый итальянец, ненавидел «восточных людей».

Я уже заранее знал, что за табльдотом, при виде Савиньи, баронесса завизжит и несколько раз скажет: «*Buenas noches, Senor, buenas noches!*», а пучеглазый врач-сириец будет долго и глупо смеяться.

Наконец, я узнал обычные фортеля мадам Обье. Как только в пансионе появлялся новый жилец, она строила ему глазки и в тот же вечер неизменно являлась к нему в гости.

Но однажды ей не повезло; какой-то новый жилец принял ее холодно. (Остерегался ли он, не желая рисковать здоровьем?) Тогда мадам Обье отступила в полном порядке. Она приняла гордый вид и сказала новому Иосифу Прекрасному: «Мадам Обье не отдается так, направо-налево!»

Однажды на бульваре Сен-Мишель она атаковала студента-инострнца, который был почти вдвое моложе ее. Они вошли в кафе. Выпив рюмочку шерри, она воскликнула:

– О, мужчины! Я уверена, что вы уже только и мечтаете, как бы переспать со мной! Правда?

– Что вы, что вы! – пробормотал юноша, покраснев до корней волос.

– Ладно, ладно. Надо развлекаться, пока мы молоды. Пойдемте ко мне! – предложила она с почти материнским добродушием и, не теряя времени, повела к себе ошеломленного юнца.

Ее дочь, десятилетняя болезненная девочка, знала слишком много для своего возраста. Ведь мадам Обье не стеснялась и принимала возлюбленных в присутствии дочери. Иногда девочка говорила какому-нибудь жильцу: «Здравствуй, дружочек!» и клала ему руку между ног.

– Приятный пансион, нечего сказать! – подумал я. – Ну и бордель! Это и есть моя башня из слоновой кости?

* * *

В моих путешествиях мне всегда везло на странные пансионы. Может быть, это моя единственная удача в жизни.

В 1913 году во Флоренции я жил в пансионе на улице Кавур, у сестер Фондини, старых дев, бывших учительниц. Их единственный слуга, толстяк с лицом, лишенным всякой растительности, говорил

тонким голоском и был похож на евнуха. Он великолепно вязал и вышивал. Покорный раб самовластных старых дев, он служил им одновременно лакеем, поваром, портным, вязальщицей и штопальщицей.

Звали его Данте, ни больше, ни меньше.

В 1915 году в Тулоне я жил на улице Кольбер, у мосье Александра Боссю, бывшего колониального офицера. Коротконогий, коренастый, с широким красным лицом и расплюснутым носом, этот чистокровный француз из Лиона, по игре природы, был похож на русского.

Он воевал с женой, с кухаркой, с жильцами. Он командовал ими, как ротой «инострального легиона», состоящей из беглых уголовных преступников. На своих коротких ножках он носился из столовой в кухню и из кухни в столовую. Пансионом управляла не его жена, а он сам. Боссю сам входил в мельчайшие подробности хозяйства.

Перед обедом он предварительно осматривал накрытый стол. Случалось, он вдруг ударял кулаком по тарелке и разбивал ее вдребезги, потом стремительно бросался на кухню и отчитывал кухарку: тарелка была с трещиной.

Случалось, попробовав вина, он опять бежал на кухню. Через несколько минут он возвращался, торжествуя. «Она получила две оплеухи!» – провозглашал он. Дело в том, что кухарка любила выпить; она отпивала из бутылки вина и потом подливала воды.

В редких случаях Боссю бывал в хорошем расположении духа. Тогда за обедом, при всех жильцах, он «ласкал» жену: хватал и тербил ее за нос.

Он неизменно был уверен в себе и говорил всегда с апломбом. Когда дело доходило до политики, он приводил следующую притчу:

– Мой отец был ортопедистом. Когда его спрашивали: «А вы, мосье Боссю, вы республиканец, роялист или бонапартист?», мой отец отвечал: «Я? Я – ортопедист».

И Боссю-сын самодовольно смеялся.

Ура-патриот, он поклонялся армии и метал громы против «сволочей-чужан»: ведь живя далеко от фронта, не подвергаясь непосредственной опасности, они не рвались в бой, относились к Германии равнодушно и ненавидели войну.

Боссю быстро смекнул, что я не патриот царской России. Он также заметил, что мне не понравился провозглашенный им тост в честь великого князя Николая Николаевича, тогдашнего верховного главнокомандующего царской армией⁵⁶.

Он не преминул предупредить полицию, и за мной установили слежку...

Я уехал в Париж.

* * *

Мобер (либерал) был гораздо мягче и любезней, чем Боссю. В моем присутствии, поддразнивая старуху Стрелкову, он говорил о России в смысле, по его мнению, приятном для меня:

– ...А ваш «царь-батюшка»?.. Послушайте, что это за национальные различия в вашей стране? Вечно у вас русские, татары, москали! – восклицал он, простодушно думая, что москали – особый народ...

IV

Из Нанси, бомбардируемого немцами, семья Дени бежала в Париж и поселилась в пансионе Мобер.

Дети умеют находить забавы даже в трагических событиях, и тринадцатилетняя Мадлен Дени была рада, что вот она впервые в Париже. В этом пансионе так весело! И все ей улыбались. Даже болезненно возбуждающий воздух Парижа приятно волновал ее.

Когда она садилась в кожаное рыжее кресло, ее распущенные волосы вставали черным опахалом. Она улыбалась своим лягушачьим ртом. В ее чертах и красках таилось что-то экзотическое: ведь природа иногда своенравно придает европейцам неожиданный облик далеких племен.

* * *

Мать вышла замуж очень рано и теперь переживала вторую молодость. В ее походке и повадках было что-то скрытное: так движутся женщины, которые чувствуют за собой вину.

Мадам Дени охотно окунулась в быт пансиона Мобер.

Черноволосая, смугловатая, кокетливая, она сначала отдалась широкоплечему студенту-греку, который посвящал ей французские стихи. Потом пришел черед длинноногого изнеженного серба: он учился пению, и мадам Дени аккомпанировала ему на рояле. Он считал, что петь надо, не открывая рта, и потому не пел, а томно мычал.

* * *

Мадлен тоже не теряла времени. Она внушила страсть белобрысому, мечтательному, рыхлому студенту-бретонцу и сама влюбилась в него. Они не расставались. Но однажды, когда другой юноша, влюбленный в другую девушку, ел яблоко, Мадлен, без всякой задней мысли, впилась в это самое яблоко своими веселыми зубами. В припадке юной ревности бретонец надулся и не захотел больше «водиться» с Мадлен. Она загоревала. Через день она подбежала к нему, бросилась ему на шею, попросила прощения, поцеловала в губы и от одного этого поцелуя уже испытала полное наслаждение. Они помирились, и бретонец стал опять счастлив.

* * *

Хотя Мадлен родилась почти на севере, она созрела рано. Конечно, она шалила еще, как ребенок. Но в ее смехе уже слышались призывы юной кобылы. Даже когда она сидела на коленях у старшего брата, и он целовал ее с какой-то грубой страстью, казалось, его ласки ее возбуждают. Она смущалась, почти пугалась и умоляюще повторяла: «Ну, Андре, ну, довольно! Андре, перестань!» Но она говорила это не без кокетства, как женщина будущему любовнику, прежде чем ему отдаться.

* * *

Для мадам Дени Мадлен была скорей подружкой, чем дочерью. Мадлен, конечно, знала о похождениях матери, была хороша с греком и сербом, но эти молодые люди считали ее еще маленькой.

Но вот мадам Дени пленилась новым жильцом. Это был хромой корсиканец, студент-юрист Жозеф Тортони. Он отличался живостью, на которую парижане, да и вообще французы «с континента», теперь уже не способны. Хоть он и хромал, и был желт, как его канаречные перчатки (и страдал венерической болезнью, о которой рассказывал во всех подробностях), он при этом отлично пел шансонетки, танцевал, декламировал стишки и придумывал игривые сочетания слогов и слов.

Он ловко валял дурака и потешал всех жильцов. Старуха-экономка с умилением называла его «дитя пансионна».

Он готовился к политической карьере. Он любил разглагольствовать о Клемансо⁵⁷, Мальви⁵⁸, Кайо⁵⁹. Тогда он принимал важный вид. Дамы в пансионе спрашивали его, скоро ли кончится война. Он не сомневался, что когда-нибудь станет прокурором, депутатом, префектом, чего доброго, министром.

А пока он служил мелким чиновником в префектуре полиции.

* * *

Скоро Мадлен тоже поддалась обаянию Жозефа. Ее забавляли его песенки, танцы, шутки, штуки.

Бретонец в свои двадцать лет был уже почти лысым, корсиканец щеголял южными густыми волосами; бретонец гнусавил и пришепывал, корсиканец мужественно басил, говорил отчетливо, всегда с апломбом; бретонец горбился, корсиканец держался молодцом.

Узнав о близости матери с корсиканцем, Мадлен стала еще больше уважать этого хромого черта.

К уважению и любопытству у нее еще примешалась жалость: ведь Жозеф хромал и был болен.

Словом, Мадлен предпочла бретонцу корсиканца и забыла свою первую страсть. Бретонец выехал из пансиона, чтобы «оплакивать свою погибшую любовь», как он напыщенно выражался.

* * *

Конечно, Жозеф не посягнул на девственность Мадлен: ведь эта девочка из зажиточной почтенной семьи. («Раньше всего, чтоб не было скандала!») Однако Жозеф посвятил Мадлен в кой-какие тайны любви. С ведома веселой матери. Возбужденная и развращенная Мадлен по уши влюбилась в Жозефа.

* * *

В пансионе Мобер были представлены почти все страны. От Португалии было здесь три представителя: Лапа, Сарафана и Сэна.

Лапа всегда молчаливо улыбался. Он прихрамывал; на его офицерском кителе красовалась ленточка неизвестного ордена.

Но в пансионе говорили: «Лапа хромает только оттого, что в Париже он намеренно попал под автомобиль, чтобы не попасть на фронт. Ленточка – не орден, а только юбилейная медаль».

Как бы то ни было, всегда молчаливый, всегда улыбающийся Лапа сумел не только «укрыться», но и прослыть, вне пансиона, раненым героем.

Сарафана был штатским. Он убивал не врагов, а время, без умолку болтая и рассказывая одни и те же анекдоты, причем смеялся только он. После войны Сарафана оказался представителем Португалии в Лиге Наций.

А Сэна? Из всех жильцов именно он скоро стал официальным любовником мадам Обье. За табльдотом он сидел рядом с ней. Он сопровождал ее на прогулку. Находился при ней в гостиной. Так продолжалось несколько месяцев.

Но однажды в пансионе появился некий капитан колониальных войск. До его приезда никто не верил, когда мадам Обье говорила, что у нее есть настоящий муж.

Тем не менее это был он. Мосье Обье во плоти прибыл.

Этот офицер с военным крестом на груди был свирепым силачом, на вид сутенером, может быть, бывшим унтером из роты беглых преступников, предназначенным самой судьбой лупить туземцев. Рядом с ним Сэна казался карликом.

Жильцы пансиона ждали кулачного боя. Но ничего подобного не случилось.

Мадам Обье весело пошла гулять, держа под руку мужа, а рядом с ней засеменил Сэна, такой же веселый, как всегда. Так они гуляли каждый день втроем.

Было ясно: муж ничего не имеет против этого положения дел. («Иностранец? Метек?⁶⁰ Да. Но у него есть деньжонки!»)

Это мирное трио стало неразлучным.

Один Жозеф был возмущен. Из патриотических чувств. «Все-таки она не должна выходить так на улицу! – важно заявлял он. – Это компрометирует Францию и Армию!»

* * *

Стекланный потолок столовой служил внутренним двором второго этажа и рассекал пансион надвое.

В этом дворе однажды раздались звучные уверенные шаги. Матовые стекла на мгновение вспыхнули от ярких красок.

И вот в столовую сошла раздушенная дама с четырехлетней девочкой.

У этой женщины было овальное лицо, черные волосы, изогнутые брови, темно-синие глаза, куполообразные веки, ослепительные зубы. Чуть вихляя выпуклым задом, она выступала прекрасной надменной кобылой.

Ее платье и жгучая шаль были неуместны в Париже, но эти цвета, варварские среди парижских благородно-сероватых оттенков, были ей к лицу и составляли с ней единое целое. В волосах сверкал украшенный инкрустациями гребень, и его блеск соответствовал блеску юных зубов.

* * *

На первый взгляд, эта женщина казалась восхитительной. Но присмотревшись к ней, вы заметили бы, что ее глаза лишены всякого выражения. Это не глаза, а инкрустации. Довольно прямой нос был слишком короток и вздернут, ноздри поставлены слишком близко одна к другой (это обнаруживалось, когда красавица поднимала голову), ноги слишком тяжелы. Когда она садилась (а это случалось часто), нижняя часть лица словно опухала, округлялась, появлялись складки и второй подбородок. В такие минуты в глазах и губах мелькало свирепое, беспощадное выражение, в горле клокотала злоба, в голосе низком, как у цыганок, хрипело бешенство. «Пра-а-га-ню!» – кричала она при всех своей девочке.

* * *

По-французски она говорила прескверно, с резким славянским акцентом, а по-русски слишком певуче и гортанно, на украинский лад (она была кубанской казачкой). В гневе она тараторила необыкновенно быстро и грубо, с неслышанным апломбом, без всяких пауз, не переводя дыхания. Казалось, ее слова толкают друг друга, а фразы несутся без точек, сметая все на пути. В этой быстроте она, по-

видимому, находила наслаждение и щеголяла умением выпаливать слова целыми залпами.

В веселые минуты она выражалась в стиле мадам де Курдюков⁶¹, примешивая к русским словам французские и коверкая их: «гутэ-кать» – закусывать, «промэнэкать» – гулять.

* * *

Когда при ней говорили на более или менее отвлеченные темы, она явно скучала. В такие минуты ее звериные глаза и вздернутый нос придавали ей тупой вид.

Но чуть услыша слово «*мужчины*», она немедленно расцветала и раздражалась гортанным хохотом или, вернее, ржала, как распаленная похотью кобыла.

Маленькая Кира, блондинка с расплющенной носюркой, не была на нее похожа, но уже подавала надежды стать достойной дочерью: кокетливо поправляя ленточки в волосах, она уже повторяла: «Мужчины!» и напевала русскую похабную шансонетку, которую слышала от матери:

А он, нахал,
Меня обнял!..

* * *

Мать звали Дарья Африкановна. Она была дочерью казачьего генерала. Может быть, ее красота восходила к прелести черкесских племен, но вздернутый нос выдавал ее украинское происхождение.

Девушкой Дарья жила у отца в крепости Гуниб⁶². Чтобы вырваться из-под отцовской опеки, она рано вышла замуж за артиллерийского полковника, который был почти на двадцать лет старше ее.

* * *

Рослый, грудь в орденах. Но сутулая спина, расплющенный кругловатый нос, заячья губа, усталый взгляд, кривые ноги. Не очень блестящий военный! «Для полковника у него нет настоящей выправки!» – говорили о нем русские офицеры.

Каждого мужчину, который приближался к Дарье, полковник старался проникнуть долгим безнадежным взглядом. Казалось, он с тоской спрашивает: «И ты тоже?»

И то сказать, чтобы удовлетворить Дарью, понадобился бы целый полк. Она была поистине полковой дамой.

Сам собой возникал вопрос: «Да его ли дочь – Кира?» Это могло бы казаться более чем сомнительным, если бы не исключительное сходство этой девочки с полковником: тот же кругловатый расплющенный нос, те же рыхлые черты лица.

* * *

В присутствии жены полковник был всегда смущен, подавлен, почти испуган, как все мужчины, потерявшие надежду удовлетворить своих самок.

Его полк составлял часть русского экспедиционного корпуса во Франции и стоял в Шампани. Полковник приезжал к жене только изредка, на несколько дней.

– Видишь, у нас здесь все сидят парочками, – с лукавой улыбкой говорила ему Дарья за табльдотом, бросая выразительный взгляд на своего нового юного любовника, который сидел напротив нее.

* * *

Вслед за Дарьей в пансионе появился сорокалетний рыжеватый человек в золотых очках. Бородка у него была жидкая, черты лица лишены определенных линий. Этой славянской рыхлости и зыбкости вполне соответствовал мешковатый русский пиджак и нескладные штаны.

Новый жилец ступал неслышным кошачьи шагом, косил и никогда не смотрел людям прямо в глаза. Его взгляд, казалось, хотел укрыться за очками.

Но отличала его другая особенность: правая рука в черной перчатке всегда неподвижно висела; время от времени он поддерживал ее левой.

Иногда он приподнимал неподвижную руку и, показывая ее русским собеседникам, объяснял:

– Мне ее подарили французские жида!

Это был русский священник отец Спасский, прибывший во Францию, как и Дарьин муж, с экспедиционным корпусом русских войск.

Если верить рассказам Дарьи, в сражении отец Спасский занял место убитого командира и с крестом в руке повел полк в атаку. Он был ранен, и ему ампутировали руку до локтя. Месяцами он ходатайствовал перед русским посольством о выдаче ему пособия на покупку протеза. Но царские канцеляристы не двинули пальцем даже ради этого «истинно русского» служителя церкви и трона.

Тщетно обращался он в разные благотворительные патриотические общества и учреждения. И только комитет французских евреев сделал рыцарский жест: преподнес русскому священнику прекрасную искусственную руку.

Вот почему отец Спасский объявлял:

– Мне ее подарили французские жида!

* * *

Отец Спасский был влюблен в Дарью. Он следовал за ней по пятам. Рыскал вокруг нее. Он намеренно носил башмаки без каблуков, чтобы подкрадываться и подслушивать у ее двери.

Дарья переехала в пансион Мобер, желая избежать этого надзора. Но отец Спасский ее выследил. В сущности, эта настойчивость льстила Дарье и забавляла ее.

Дарья уверяла, что никогда не спала с ним. Но это неправда: она переспала с ним из любопытства, именно оттого, что он священник. (Чтобы пополнить коллекцию своих мужчин.)

Кира забавлялась этим дядей по-своему. За табльдотом, в те дни, когда он приходил со своей деревянной рукой, она любила смотреть, как он сгибает свою «машину» в локте и укрепляет нож между деревянных пальцев. А в дни, когда отец Спасский являлся без «машины», Кира запускала ручонку в его пустой рукав.

* * *

Однажды к Дарье пришел очередной поклонник, серб, один из тех юнцов, которых она называла «вьюноши». Она уже готовилась возлечь с ним на красный ковер и предаться наслаждениям, как вдруг в дверь тихонько постучали, и, не дожидаясь разрешения, бесшумно вошел отец Спасский.

От этого ревнивца можно было ожидать наглостей. Но, оказалось, опасности нет: отец Спасский был пьян и тем самым склонен к лирическим излияниям.

Он немедленно заговорил о пресловутой «славянской душе».

– Прочитайте мне ваши стихи, чтобы я мог увидеть вашу ду-у-ш-ш-у, всю вашу ду-уш-ш-у, – ележно сказал он юнцу, который кропал в честь Дарьи стишки.

Ну и невезенье! Все трое томились, переливая из пустого в порожнее, как вдруг дверь распахнулась, и, остолбенев, они увидели самого полковника.

Он приехал в отпуск, не предупредив жену, и вошел, не постучав. Грустно взглянул он на гостей, поцеловал Дарью, сел и робко погладил ее по колену. Дарья с трудом скрывала отвращение и досаду.

Обменявшись несколькими фразами с полковником, священник и юнец разочарованно ушли.

– Как? Значит, ты принимаешь у себя в комнате мужчин? – спросил у Дарьи полковник.

– Да ведь их было двое. Что ж, по-твоему, было бы лучше, если бы я принимала каждого в отдельности и оставалась с ним наедине? – с обычным апломбом возразила Дарья.

Полковник только рот разинул.

* * *

Дарье было особенно приятно наставлять мужу рога как раз за несколько минут до его приезда. Бывало, муж входит, а она бесстыдно улыбается, еще розовая от ласк, и мысленно еще вздрагивает от острых воспоминаний. Так она наслаждалась вдвойне: и любовью, и опасностью. Она с упоением думала, как на следующий день скажет партнеру:

– Да, ловко это вышло! Мы чуть было не засыпались!

* * *

Но не только мужу наставляла Дарья рога. Она обманывала всех своих возлюбленных.

В их присутствии она любила поиграть с огнем: намекнуть на свои «флирты», вызвать и разжечь ревность, послать записку «поклоннику», приоткрыть кой-какой секретец, приподнять на минуту маску, нагло вато ухмыльнуться.

Ей, конечно, ничего не стоило изобретательно «объяснить» происхождение следов поцелуев на своем теле.

Она доходила до того, что знакомила друг с другом своих мужчин, чтобы позабавиться их растерянным, взбешенным видом. Она умела избегать опасности, вызывая ее. Когда она принималась поддразнивать поклонника, намеренно восхищаясь «соперником», поклонник, подозревавший ее в неверности, обалдевал перед наглостью этой бабы.

Она всегда находила способ избавиться от Киры. Под разными предложениями (урок французского языка, примерка платья) она сплавляла девочку подруге, даже сопернице, или отправляла гулять с кем-нибудь из своих хахальков. А сама пользовалась каждой свободной минутой, чтобы переспать то с сербом, то с португальцем, то с французом, то с соотечественником.

Недаром само имя Дарья напоминало латинский глагол dare – давать.

* * *

В трамваях, автобусах, метро она старалась привлечь внимание мужчин (лишь бы они были рослые). Она кокетливо улыбалась даже полисменам и, в частности, тому, что стоял на посту недалеко от паниона Мобер.

Она любила раздеваться и одеваться у незавешенного окна, при полном свете, выставляя себя напоказ, чтобы ее плечами, грудью и спиной любовались как можно больше прохожих и незнакомцев.

Добродетельных женщин она презрительно называла «Пенелопы».

Она предавалась любовным утехам не только в постели и на ковре, но еще и под открытым небом, в окрестностях Парижа, на курор-

тах, в лесах, полях, пещерах, на пляжах, в море. Каждое место, где она наслаждалась, становилось для нее чуть ли не священной, как в древности для греков места, где побывали боги. Принимая солнечные ванны, она взывала: «Юпитер!» – думая, что Юпитер – бог солнца и любви. И чаще всего Юпитером был курносый, скуластый ротмистр царской армии.

* * *

В часы воздушной тревоги Дарья изредка спускалась в подвал, но не для того, чтоб укрыться от бомб, а чтобы пококетничать с рослым американцем, который, по ее словам, «ласкал ее глазами».

Но чаще, глубокой ночью, пока испуганные жильцы отсиживались в подвале, прижимаясь к стенам, – Дарья наверху, в своей комнате, облаченная в розовый шелковый пеньюар, валялась на красном ковре с кем-нибудь из своих партнеров. А маленькая Кира вздрагивала во сне от стонов и смешков матери.

– Она уже что-то чувствует, – с довольной улыбкой говорила Дарья, как другие родители говорят: «Моя девочка умненькая: она уже знает наизусть басни Крылова!».

– ...Да это позор! Эта женщина *sin verguenza*, без стыда! – жаловался на Дарью старый испанец, ее сосед по комнате. – Подумайте, каждый вечер она принимает у себя мужчин, она так стонет и орет, что нет больше сил оставаться дома: приходится идти на улицу и брать первую попавшуюся женщину!..

На всех этажах раздавалось ржание: это в своей комнате хохотала Кобыла-Дарья.

* * *

К весне 1917 года старуха Стрелкова заболела. Она задыхалась от астмы, беспрестанно звала Мобера, говорила об их пресловутом путешествии. Сжимала его руки.

Однажды, твердя о своей любви, она задохнулась и умерла.

Что ж! Каждый человек нуждается в иллюзиях. Даже в шестьдесят пять лет у Стрелковой была иллюзия: любовь к Моберу. Последняя, а может быть, единственная любовь.

Валяя дурака, Мобер не забывал своих выгод.

Старуха оставила ему в наследство ковры, меха, драгоценности, мебель из красного дерева, библиотеку, даже акции.

В лучшей комнате пансиона, которую она занимала, остался шкаф, полный русских книг в дорогих переплетах. Возникал вопрос: «Что будет делать с ними Мобер? Ведь он в них ничего не понимает!»

Стрелкова умерла вовремя: как раз незадолго до уничтожения частной собственности в России. Старуха успела пожить на свои капиталы.

* * *

Своего рода реклама! В эту пору остервенелых националистов каждый народ кричал о своих бедах, считая их самыми важными, стараясь перекричать другие народы.

Жильцы пансиона были ура-патриотами.

Не только большинство французских интеллигентов, но и множество иностранцев, живших во Франции, мало чем отличались от ура-патриотов – консьержей.

Даже среди сумасшедших были ура-патриоты. В любую погоду, каждое утро, сумасшедший старик, по прозвищу «Король поэтов» приходил в Люксембургский сад. «Эй, Король!» – кричали ему мальчишки. Он был большого роста, бородатый, похож на Жака Ришпена⁶³, почти величественный, и напыщенно читал вслух перед фонтаном «героические» вирши о войне, заканчивая каждую строку словами: «На полях сражений...».

Некий русский студент проповедовал мне ура-патриотизм и ужасался моим чудовищным мыслям. Он изводил меня поучениями, твердя, что мой долг – вернуться в царскую Россию или, по крайней мере, поступить добровольцем во французскую армию. Он уверял, что и сам пошел бы добровольцем на войну и даже «заработал бы Георгия», да вот жена не пускает. А пока он трепетал, как бы чего не вышло, как бы не скомпрометировать себя перед французской полицией знакомством со мной.

V

В Петербурге я давно привык жить, как тень. Я жил, как тень, и здесь в Париже. Далеко от русских, и от евреев, от всего мира. Иногда я жил так, как будто уже умер.

Приходилось молчать. Молчать о своей ненависти. Молчать о своих печалях.

Я замыкался в самом себе. Ничего не видеть, ничего не слышать!

Однажды за табльдотом Савиньи заметил, что я мрачно молчу, и решил, что у меня любовные невзгоды.

– Подумаешь, женщины! – сочувственно воскликнул он. – Когда-то и у меня были с ними неприятности. А теперь, видите, я на них плюю!..

* * *

Часто я отчаянно старался найти в моем прошлом роковую отправную точку – главную ошибку, причину всех моих других ошибок и поражений.

Иногда мне казалось: я ее нашел. Я считал ошибкой такой-то поступок и приписывал ему гибельное влияние на мою судьбу. Иногда

эта ошибка казалась мне непоправимой. Иногда я надеялся ее исправить, устранить, пережить, противопоставить ей остальную часть моей жизни.

* * *

Я вспоминал горестную поэму Попа в переводе Жуковского, которая поразила меня уже в детстве – «Выбор креста». Иногда мой крест казался мне невыносимым. Иногда, помимо моей воли, я предпочитал его любому другому кресту: ведь боль, которую он мне причинял, стала для меня такой привычной, что я уже не мог без нее обойтись, не мог вообразить себе другую жизнь.

* * *

Покинув родину, освобождаешься от нее только физически. Забыть ее? Легко сказать! Издали она представлялась еще гнуснее, еще ужасней. Казалось, она меня преследует до края земли.

– Да ведь для вас Россия – какой-то гойевский кошмар! – однажды сказал мне знакомый француз.

* * *

Уже в Тулоне меня томил один и тот же сон; мне снилось: неизвестно зачем я вернулся в царскую Россию; и вот я снова в этой огромной тюрьме; невозможно оттуда бежать; на этот раз это – вечное заточение.

Я оживал только к вечеру. Я выходил из пансиона толстяка Босю, словно из застенка.

Об этом впоследствии, еще юношей <?>, я сложил стихотворение, в котором, соединенные с дистихами и четверостишиями, терцины восходят к терцинам Дантова ада:

Избыток горечи сверг меня в сон.
 На Средиземном море порт военный
 Стыл. Весь Тулон – похмелье похорон.
 Днем родина приснилась мне геенной.
 В темницу прежнюю я заточен.
 Средь виселиц вновь и навек я – пленный.
 Я равен Африке и зною жал
 Холод России и чамра вселенной.
 Как будто кровь тяжело течет из жил,
 И вечна скорбь, которой я бежал,
 И, малодушный, я не обнажил
 Во имя избавленья мой кинжал.
 Но вечер, вздох, и пробужденье. Лоно
 Спасенья! Было странно: вновь я жил.

Я вышел из дому, как из притона
 Пыток. Дыхание мне сон обжег.
 Веки в огне загробного циклона.
 Но тем нежней тень пальмовых дорог,
 Но тем блаженней странность небосклона.
 Поклонник пальм, близ вас дышать я мог!⁶⁴

* * *

Уже в моих путешествиях по Италии и Востоку я отрывался от родины.

Уже с 1913 года я старался «саботировать» царскую Россию, как впоследствии, с 1917 года, белоэмигранты саботировали СССР.

В Париже я по-прежнему старался *деруссифицироваться* <так!>.

Как будто русский язык мог вылиться из моего мозга, словно некое вещество, а французский – влиться в мою обновленную голову.

* * *

В те времена я еще не мог выразить себя во французских стихах. А писать по-русски я больше не желал. Я онемел.

Я вспоминал, как Бодлер, парализованный болезнью, онемев, с бессильной улыбкой смотрел на мать безнадежным взором. Но до этой катастрофы он все-таки успел высказать себя в гениальных стихах. А я?..

* * *

Молчанье ты возвел в безжалостный закон.
Андре Шенье

Так я сам приговорил себя к молчанию. Я сам лишил себя прав поэта. Невольно я сам стал своим палачом.

· Пытка молчанием.

Приговор: бессрочное каторжное молчание.

Это было *замедленное самоубийство*.

* * *

Иногда я уже воображал себя равнодушным к русской поэзии.

Но вот однажды русский студент, заурядный человек, положил передо мной, может быть, намеренно, том Пушкина.

Тут же, взглянув на меня, он остолбенел: я набросился на «Цыган», как нищий набрасывается на клад, как голодный – на хлеб. «Ну можно ли так любить стишки? Странный малый!» – решил студент.

* * *

Да, как я ни ненавидел царскую Россию, я не мог замолчать окончательно: время от времени я писал стихи по-русски (ведь тогда я не умел писать по-французски). Так я не смог выполнить обет молчания.

К тому же понятие французской поэзии сочеталось в моем воображении с моей мукой и стало для меня новой болью.

* * *

В глубине души я был почти уверен, что не сумею научиться писать по-французски, но я хотел сделать все возможное, испробовать все, чтобы моя совесть была чиста, чтобы оправдаться перед самим собой, чтобы впоследствии мне не пришлось укорять себя за то, что я приложил слишком мало усилий, и чтобы доказать себе несбыточность моего желания.

* * *

О, чего бы я только не дал, чтоб отделаться от моей неотступной мысли, словно бык, который отчаянно старается сбросить бандерильи, что вонзились ему в хребет и жгут его. О, спастись,

Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!

* * *

Но я нашел временный выход.

Я окунулся в живительные источники: прочел в библиотеках древнееврейски «Песнь Песней», по-гречески – Гомера, Еврипида, Феокрита, по-латыни – Энния, Вергилия, Горация и Катутла, по-итальянски – Данта и Петрарку, по-испански Кальдерона и старинные романсеро, по-португальски – Камозенса, по-провансальски – трубадууров, и многое другое, стихи на одиннадцати языках.

Я с жадностью искал в испанской старине редкостные стихи, следы инквизиции, образцы тюремной поэзии.

Среди них я нашел трехстишие неизвестного автора:

Tengo yo mi corazon
Negro como las columnas
Del Templo de Salomon.⁶⁵

Я его не записал, но и так запомнил на всю жизнь...

Я любил погружаться в чтение протоколов испанской инквизиции. Казалось, моя кровь текла вспять к родной древности. Да я и сам пережил некую инквизицию в царской России. Ничто инквизиционное не было мне чуждо. Все, что было инквизиционного в нашем веке, пребывало во мне самом.

Я уходил в этот мир, как в музыку.

В биографиях и стихах испанских и португальских поэтов – евреев, подвергнутых пыткам, изгнанных или загубленных инквизицией, я – как это ни странно – обретал некий покой: ведь их участь была куда жесточе моей. И все-таки они писали на языке инквизиторов. В этих книгах я черпал новые силы. Из этого тюремного мира я выходил возрожденный к жизни.

* * *

Я создавал искусственный рай из слов и стихов. В моей крови кишели микробы музыки; в узких пределах моего тела разворачивались необыкновенные события.

Во мне, никогда не отягчась скоплением согласных, в совершенном равновесии, сочетались выпуклые слоги латинян, а утешительные гласные – балконы с дверью, настезь открытой в соленое утро или в вечер, исходивший любовью, – открывали дыханию южное море. Мужественными рядами строились глаголы римлян; под гулкими колоннадами Италии звенели цимбалы – окончания прошедшего несовершенного; раздавались удары – каменные причастия испанцев; вырвавшись из мавританского мрака, гортанные хоты – испанские *x* – вторгались в латинский мир через Гибралтар – Джебель-аль-Тарих, Гору Тарика-Завоевателя; подскакивали синкопы арабов; арабское средневековье возвращалось в Ассирию, Палестину, Карфаген; жгучий песок и пыль многих *аин* и *гхаин* орошались нежными *La, Lo, Lou, Lu*: это приближалось море или бил живительный ключ. Сожженная солнцем *Шхархарет* освежалась и превращалась в утреннюю *Шель-Шахарит*; библейские шипящие *Ш*, обогатившие церковно-славянский и русский алфавиты, сгущались в непроницаемую ночь, где отчетливо бряцали хвостатые *Ц*.

О, ночь! *Núz, nox, noches, notte, night, Nacht, laïla, leïla!* «ὦ νύξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφή!» О, черная ночь, кормилица звезд золотых! В пустынях и горах дули пронзительные сквозняки. Отвесно стоял грозный мрак библейской древности.

Среди неподражаемых благоуханий торжествовала любовь Соломоновой Песни Песней. Еврейский и греческий миры сливались в едином счастье, в звуке *Παράδεισος*, *Парадиз*. Рай. Это был Ган-Эдем, Сад Эдем. В лиловое небо возносился пальмариум, и все казалось сверхъестественным. Стадо слонов? Нет, лес пальм. Пальма-Мария, Мария де лас Пальмас. Пальма-Тамар-Тамара! «Се величие твое, стан твой подобен пальме!» *Haec magnitudo tua, statura tua facta similis est palmae!*⁶⁶

Турецкие нежные *й* и *джи* сочетались с резкими *ы*, и разные *гюзел* и *гюмюльджины* едва лепетали там, где раздавались *керанлык* и *пашалык*. Кишели горные наречия Кавказа, Ливана, Афганистана; сталкивались дикие согласные, тянулись степные слоги. Неуклюже

копошились гнусные *ши* и *вши*, окончания русских причастий. И вдруг запевали провансальские соловьи. *Аэлис, Алис!* В Испании рождались пленительные женские имена: *Долорес, Мануэла, Соледа, Консуэло*. В Греции родительный падеж множественного числа *ὄν* (он) – знак оплодотворения – вставал благородной колонной. В булькании гавайских гитар, под стук бамбуков, вздрагивали малайские *анг, янг, уанг* и завывали меланхолические шакалы...

Огненный ангел евреев – *Сераф*, возникший из глагола *сараф* (гореть, сжигать), размножился в *серафимах*⁶⁷. В своих метаморфозах он извивался змеями: еврейскими *сераф*, арабскими *сирфат*, санскритскими *сарпа*. Змей! Вот он в египетских иероглифах – демон *Кнеф*⁶⁸ с головой божественной *Сератис*⁶⁹. Извиваясь семью равными звеньями, семью трубами радиатора, встав на дыбы, *Змей Ада* нападал на египтянина, сошедшего в Царство мертвых – вырвать, при жизни, тайны загробного мира. В этом неравном бою смертный боролся с вечностью; его копье, как диагональ, пронзало сверху донизу звенья чудовища. Искалеченное еврейское множественное число *Серафим* становилось нашим единственным Серафимом...

Мне недостаточно было проявлять свою власть над одним только языком. Я погружался во многие сплавы, старался найти новые силы слова.

Смешал
испанские хоты,
Библейские Ш,
Пенджаба щедроты,
Джи Кавказа, извилины коптов,
Русский пэон,
Столкновения эфиопских ропотов,
Мрак многий,
Какой-то в нос стон,
Неизвестные слоги.⁷⁰

Но часто я ненавидел Слово, это орудие разъединения людей. Меня томила мысль о всемирном языке.

Я леденел от музыки.

Но мною владели не Бетховены, не Бахи, не Шопены, не Листы, не Вагнеры. Я любил животную жалобу Востока, прерывистое пение, которое изрыгает тоску, избавляя от мук бедное человеческое существо. В моих внутренностях пребывала безвестная древняя музыка. Ведь восточные люди любят жить в постоянном чувстве Ритма, баюкать себя жалобами. Вещество музыки нападает на человека, поднимается к горлу и наводит ужас.

Оглушенный, я пребывал в некоем посмертном мире. Окаменелый, я был простерт, словно истукан, брошенный на произвол музыки...

В часы смертельных сожалений прошлое казалось мне кошмаром. Жизнь, которую я хотел создать, как безусловно прямую линию, внезапно являлась мне клубком черт, разбитых нелепым случаем. Кто из нас не восклицает, словно Расин:

Inexorables dieux qui m'avez trop servi,
 A quels mortels regrets ma vie est reservée!
 (О боги лютые, вы слишком вняли мне!
 Мне остается жизнь смертельных сожалений!)

Когда-то, задолго до появления в Европе джаза, оркестры вызывали во мне верные прозрения не только моей судьбы, но и судьбы нашего века. Гнев, месть, войны, революции были возведены музыкой.

Пораженный внутренними контузиями, я испытывал некое наслаждение, растравляя свои раны, вызывая вновь и вновь чувство всего непоправимого, что было в моей судьбе.

Когда после войны, после четырех лет гробового молчания, в Париже впервые грянул джаз, в негритянском, казалось, небывалом, оркестре воскресли древние синкопы. В этой музыке звучат истоки трагедии. Так в замедленном кино открывается тайное существование насекомых и растений.

Первоначальное неистовство фокстротов сменила прекрасная медлительность блюзов. В глубинах саксофона затихают смертельные сожаления. В этой музыке трудная нежность, наконец, спасенная от жестокостей нашей юности. Глухой возглас, зов саксофона – вся меланхолия нашего века, облагороженная этой трубой. Какой матовый, сдержанный звук в этой металлической раковине! Ее стон – продлил мое существование.

* * *

Я погружался не только во мрак инквизиции и в звучания слов, но и в недра подводной ночи. Я приоткрывал люки.

Мне хотелось назвать все, что я люблю, и все, чего у меня нет. Пронзать, нырять! Полипы, рифы, мадрепоры⁷¹, амфибии, моллюски, губки, анемоны, звезды, медузы, пиявки, раковины, лангусты! Я заблудился в джунглях морей. Груды, причуды: клешни, щупальца, усики, панцыри, щиты! Задыхаюсь в этих зарослях! Животные или растения? Отпечатки растений на камнях, отпечатки наших печалей. Здесь кости, позвонки, сердца. Здесь погибли пласты обугленных миров. Остовы, скелеты, живые мумии. Сожженные, окаменелые, обращенные в известь и пепел, как я сам. Изображение моих пыток! Здесь мне уже не больно созерцать мое крушение.

Eil naufragar me dolce in questo mare.
 (Мне сладостно тонуть во тьме подводной ночи).⁷²

Нет, я хотел бы рвать, жевать, пожирать. Я должен совершать, преодолевать, продлевать, размножать.

Броситься на рифы, прилипнуть к полипам, примкнуть к колониям мадрепор. Дать биться моим двум сердцам. Видеть четырьмя глазами, как морские черви-нереиды. Витать летучей рыбой, вольным плавучим телом. Идти ко дну, отвесно вставать. Жить в глубинах и на вершинах. Возродиться в этой талассократии⁷³. Быть повсюду сразу. Оплодотворить испанку Консепсьон – Зачатие через ее уменьшительное Конча – Раковина. Озарить печали Долорес – Печали ее сияющим ликом, отраженным в уменьшительном – Лола. Обнять Пилар – Столп, населить Соледа – Одиночество, утешиться с Консуэло – Утешением.

Море, Марина, Мариула, твои сияния – моллюски. Войдем в эти полчища святящихся животных! Засияем этой фосфоресценцией!

Разве вы не видите? В море кишат языки и наречия, рождаются, объединяются в обольстительных сочетаниях, в этом мире ячеек и молекул. Сверкают и звучат. Приставки прижимаются к корням слов, корни сплетаются, слоги строятся и совокупаются, окончания завершают наслаждение. Согласные переплелись, как щупальцы. Гласные сокращаются, открываясь для зачатий. Существительные и глаголы размножаются в падежах и временах. Древние насекомые – буквы – составляют алфавит. Влажные звуки романских языков придают еще больше нежности морю и озаряют ночные воды.

Здесь я хотел бы, подводная ночь, дышать твоими люками. Коснуться твоих щупальцев, дать испить моей крови твоим пиявкам, раздвинуть твои заросли, пробиться сквозь твои дебри, пронзить твои недра, поцеловать твои створки, проникнуть в твои глубины. Испустить последний вздох...

VI

Был вечер как вечер. Жильцы отужинали. Головы еще кружились от вина и звенели дребеденью болтовни.

В уголках гостиной уже расселись пары.

– Когда же кончится война? – простодушно спросила старая француженка.

– О, что до меня, я готов воевать сколько угодно. Пусть война и не кончается! – небрежно ответил вылощенный капитан, приехавший в отпуск.

– Чего там, мы будем воевать и в девятнадцатом году, – прибавил блестящий офицер, маркиз, военный атташе в Токио, который пришел в гости к капитану.

– Но как же? – робко спросила француженка. – У нас ведь не хватит солдат!..

– Да очень просто... русские с их неисчерпаемыми запасами людей...

Между тем Жозеф принялся читать вслух статью из журнала «Иллюстрасьон». Как всегда, он коверкал слова («пшишология») и в одну минуту произвел из искаженных слов десятки непристойностей. Он сыпал ими, жонглировал и пускал их фейерверками.

Мадам Дени села за рояль, ловко сыграла «Сад под дождем», «Childrens corner», «Фавн» Дебюсси и тут же насмешливо прогнусавила «Фавна», презирая эту музыку.

Кто-то крикнул: «Жозеф! Жозеф!»

Под аккомпанемент мадам Дени сам Жозеф выступил в своем репертуаре и с улыбками, ухватками, ужимками запел:

Ну и пушка!
Захватывает дух.
Вот так погремушка!
Пиф-паф! Ух!

После этого раздалась лукавая марсельская песенка:

На пристани в Марсели
Я устриц продавал...

Потом песня о солдате-фронтовике:

Ты еще увидишь Париж!..

Наконец опять грянула «Пушка».

Все подхватили припев. Мадлен, не отрываясь восторженным взглядом от своего Жозефа, твердила взрывчатый возглас: «Пиф-паф! Ух!»

– Я буду лечить вас сама! – в порыве благодарности и нежности шепнула Жозефу мадам Дени.

– ...Мама! Мне надоело учиться! – нетерпеливо объявил Андре.– Вот мой товарищ Жан Тома ловко устроился: у его матери магазин перчаток под вывеской «Шведская королева». Эх, мне бы такой магазин! – с умилением прибавил он.

– Ну что ты, Андре? – смущенно ответила мать. – А твоя карьера?

– ...Вчера на улице какой-то иностранец обронил пакет. Оказалось, важные документы. Шпион! – многозначительно выпалила новая жилища мадам Тюаль.

– Шпион! – немедленно подхватил ее семнадцатилетний сын.

Это был их обычный трюк. Оба, сверкая стеклами пенсне, сдвигнув неумолимые брови, испытующе смотрели на собеседника-иностранца холодным, жестким взглядом.

Мать и сын держали себя как ровесники. Казалось, их объединяет какая-то подлая тайна.

– Они живут в одной комнате, – шепнула в уголку мадам Дени. – Мать и сын спят в одной постели. У них кровосмесительная связь!

– ...Да, деточка, я все, все видела! – торжествующе прошипела мадам Обье, обращаясь к Мадлен, как только вышли мадам Дени, Андре и Жозеф. – Ну и тип этот корсиканец! Никогда еще я не видела такого грубого мужчину. Представьте, – понизив голос, сказала она, обращаясь к мадам Тюаль и к другим дамам, – она (мадам Дени) была в одной сорочке, а он, почти голый, в дамском пеньюаре, гнался за ней и рвал на ней сорочку. Он ее буквально ис-тя-зал. Я все видела из окна моей комнаты.

– Да что вы, мадам, – вздрогнув всем телом, пролепетала Мадлен, – мы ведь только шутили... мы... играли... это был маскарад.

Вдруг в столовой раздались крики.

– Как, мосье Мобер? Вы смеете требовать, чтобы мы выехали? – в негодовании заорала мадам Тюаль. – А почему ж вы терпите мадам Обье и мадам Дени?

– Мадам, я вынужден... – пробовал возразить хозяин пансиона.

– Вы считаете, что мы слишком шумим?

– Мадам!..

– Это вы всегда шумите, мадам Обье! Это вы всегда поете, мадам Дени! – воскликнула мадам Тюаль.

– Мадам Тюаль, мой муж не допустит, чтобы вы делали мне замечания! – сквозь зубы заметила мадам Дени.

– Я никуда не двинусь отсюда! – объявила мадам Тюаль.

– Мосье Мобер, не вам учить других нравственности! Правда, Жанно?

– Еще бы, мама!..

– Мадам, я очень сожалею, но я поставлен перед необходимостью предупредить вас...

– Что?..

– ...что вы должны к концу месяца покинуть мой пансион...

– Не для того ли, мосье Мобер, чтобы предоставить вам полную свободу развращать мальчиков?

– Мадам?!

– Скажи-ка, Жанно, разве мосье Мобер не приставал к тебе с гнусными предложениями?..

– Приставал!

– Лжец! Негодяй! – взвизгнул Мобер, театрально замахнувшись на юнца. – Знаете, чего вы заслуживаете?

– Попробуйте меня ударить, мосье! – невозмутимо ответил Жанно.

Он высокомерно выпрямился и напряг мускулы.

Как это часто бывает в перебранках между французами, дело до драки не дошло, но все заорали еще патетичней.

Мобер, негодуя, вышел.

– Он хочет избавиться от нас от всех! – объявила мадам Дени. – Он нас опасается: ведь мы слишком хорошо знаем его развратную жизнь.

– Мне хочется набить кой-кому морду! – объявил Жозеф, и, как эхо, повторила его слова Мадлен.

– Пока я молчу. Но, если дело дойдет до меня... мой будущий тесть – прокурор Республики! – мрачно возвестил их друг и сосед по столу, некий Феликс.

Я с отвращением выбрался из этого маленького ада.

Я хотел подняться к себе в комнату, как вдруг ко мне подошел Мобер.

– Какие злые люди! – жалобно сказал он. – Они лгут, мосье, верьте мне!.. Разве я когда-нибудь за вами ухаживал?

– Что вы, что вы, мосье Мобер!

– Знаете, в чем дело? На мадам Тюаль косо смотрит полиция. Мадам Тюаль недавно приехала из Швейцарии; там она встречалась с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Германии. Меня предупредил полицейский комиссар. За мадам Тюаль установили наблюдение. Ее не хотят держать ни в одной гостинице. Поэтому она и не желает выехать из моего пансиона. И вот шантажирует меня...

Но я его уже не слушал.

В этот мрачный вечер вдруг грянула музыка.

«Smiles» – Улыбки!.. Mary smiling!

Этот радостный напев прозвучал для меня похоронным маршем.

Я бросился в подвальную комнату, в бильярдный зал, откуда доносилась музыка.

Там на фортепиано уже играла мадам Дени, там уже тайно «веселились», хотя музыка и свет в этот поздний час были запрещены полицией.

Я схватил бильярдный кий, как факир – змею. Вскочил на бильярдный стол и под низким потолком, под самой лампой, пустился в пляс. Я вертел эту деревянную змею между пальцев, проводил ее под ногами, в лад музыке. Змея не сгибалась, зато извивался факир.

Внезапный танец! Манекен, автомат, истукан, при первом залпе «Улыбок» я возродился к жизни.

Казалось, когда-то сожженный в аутодафе, я присутствовал здесь в изображении и развлекал публику.

Ратуйте, православные! Вот она, ненавистная вам заморская обезьяна! Вот он, окаянный басурман!

Десятки жильцов, остолбенева, испуганно следили за моими движениями.

– Осторожней! Лампа! Лампа!

Но с точностью автомата я чертил в воздухе углы и дуги моего танца. («Чего там! Ведь плясать с кием на бильярдном столе, в сантиметре от лампы, все-таки легче, чем сражаться на войне и делать Революцию!») Беспечный, невесомый, в радостной агонии, я все плясал. Казалось, я нашел некое счастье в последнюю минуту моей жизни...

И вдруг...

И вдруг музыку заглушил протяжный омерзительный вой.

Сирена! Тревога! Боши! Боши! Тушите! Тушите свет!..

VII

Как я ни уходил от действительности, но обрывки русской жизни являлись мне даже во Франции.

В Тулоне, сидя за обедом в пансионе Боссю, я однажды услышал протяжный рев. Казалось, на город несется целый табун диких зверей.

– Это ваши соотечественники, – не без иронии сказал мне Боссю.

И правда, это пьянствовали в портовых кабачках прибывшие моряки русской эскадры.

Вскоре я встретил одного из них: грузный кабан, он брел, шатаясь, по узкой улочке и натывался на стены; казалось, вот-вот он опрокинет их.

В Париже в русской церкви⁷⁴ царский посол Извольский⁷⁵, похожий на индюка, надутого спесью и тупостью, – скиф, переодетый европейцем, величественный разбойник, – целовал жирную руку справлявшему богослужение попу.

В кафе на бульваре Монпарнас молодой еврей, русскоподданный, который пошел добровольцем на войну и вернулся с отрезанной ногой, говорил приятелю:

– Поздравляю тебя с новым погромом. Царская армия опять громит евреев. Значит, за этих погромщиков я и отдал мою ногу!

– Эх, варвары! Где русские, там погромы! – вырвалось у другого.

В Петербурге на Александровском рынке в конце 1916 года, по сообщению русских газет, женщина несла ребенка, как вдруг ее окружили остервенелые торговки и завопили: «Жидовка! Она умучила христианского младенца!» Женщина оказалась чистойшей православной русачкой, женой царского офицера.

* * *

...Да, я хотел бы быть на месте европейских интеллигентов, которые знают Россию только по романам Достоевского. («Le grand Fedor! Великий Федор! Как это экзотично!») Удобно усевшись в мяг-

кое кресло, европейский рантье может позволить себе роскошь смаковать все гнусности Достоевщины.

* * *

Как я уже сказал, я с детства был влюблен в прелесть французского языка. Сама Франция представлялась мне блистательной страной, Франция с ее страстью к свободе, звучавшей в «Марсельезе», которая в те годы была в России революционным гимном.

И что же? Французская республика в союзе с царской Россией, Франция, которая когда-то разрушила Бастилию, поддерживает Россию, эту Бастилию всего мира, Россию, эту тюрьму народов!

Франция – освободительница угнетенных народов? Об этом уже не могло быть речи. Каждая страна спасала свою шкуру. «Спасайся, кто может!»

Сколько гнойников вскрыла эта война и сколько сорвала масок! Но, к несчастью, она же надела на людей другие маски. Маски и шоры.

Сколько людей облапошил своими громкими фразами капитализм!

Сначала я простодушно считал, что родной язык эльзасцев – французский. И вот оказалось, что это не так и что французским богачам нужна не свобода Эльзаса, а его уголь, нефть и железо.

В те годы я еще не знал, что, воюя с Германией, Англия в то же самое время торгует с этой самой Германией.

Но для меня было ясно уже давно, что царская Россия, во всяком случае, не менее гнусна, чем кайзеровская Германия.

В Германии шуцманы⁷⁶, офицерье, юнкерье, профессорье; в России городовые, попы, казаки; в Германии пангерманизм, в России славнофильство; Германия мнит себя наследницей индусской культуры, Россия – наследницей Византии; Германия рвется навести везде «порядок» во вкусе шуцмана, Россия мечтает затоптать весь мир смазным сапогом, держать всех под крестом, под кнутом.

И подумать, что в годы войны один Ромен Роллан, в своей книге «Над схваткой», поставил рядом с кайзеровской Германией царскую Россию!⁷⁷

* * *

В разных вариантах во мне раздавались одни и те же лозунги:

Святая Русь, Жандарм Европы, Тюрьма народов!

Россия – страна инквизиции XX века.

Россия – вечное рабство, вечная мачеха.

Россия – язва мира.

Россия – огромный материк, лишенный открытых морей, широченная баба-монстр с непомерно маленьким влагищем!

Так называемое «Христоролюбивое воинство»? Орда погромщиков. Тысячи или миллионы безнаказанных убийц! Неужели все эти преступления останутся безнаказанными?

Возмездие за все преступления царской России!

И все это разразилось в моих стихах:

Я ненавижу все, что любишь ты, урод,
Я люблю все то, что ты возненавидишь.
В упор! Моя любовь – твоя вражда и смерть.
В упор! Твоя вражда – моя любовь и жизнь.
Хотя бы в этом мы – увы! – неразделимы.
Изрубленный в куски срастается, как червь,
Чтоб только ринуться и продолжать работу.⁷⁸

VIII

И вот пришло первое известие о Революции.

Русские ура-патриоты просчитались.

Французский маркиз несколько ошибся, когда, надеясь на рабство России, еще за несколько дней до свержения царской власти он изрек: «Русские с их неисчерпаемыми запасами людей...»

Наконец, прорвалось отчаяние этих голодных рабов, этих узников Тюрьмы народов! Рухнула варварская империя.

Революция? Наконец! Но я помнил, к чему привел 1905 год. И – горько сказать! – с тех пор я уже не доверял Революции.

Так заключенный, привыкший к тюрьме, не верит в освобождение даже в ту минуту, когда освободитель открывает ему дверь камеры и возвещает: «Ты свободен!» Заключенный принимает его за тюремщика.

О, если бы вместе с Революцией и через Революцию все в корне изменилось! Если бы позорное прошлое России никогда не существовало! Если бы я его никогда не знал! Если б из Революции возник сразу новый человек! Если бы за столько мук, туманов, морозов, снегов нас вознаградило неожиданное тепло.

Взрыв небывалый тепла
В моей проклятой Сибири.⁷⁹

Но – увы! – все это было невозможно. Я это знал.

* * *

Вскоре после свержения царской власти в Париже появилось много русских офицеров. С разрешения Временного правительства, они, под разными предлогами, уезжали, верней, бежали из России, опасаясь, что их растерзают солдаты.

Несколько царских офицеров поселилось в пансионе Мобер.

Еще недавно они муштровали солдат, и вот теперь сидят здесь, за табльдотом, мрачные, испуганные, затравленные.

Попав в общую беду, они друг друга возненавидели. Они стали такими обидчивыми, что каждому слову, каждому жесту придавали враждебное значение, и каждое движение пальцев уже казалось им кукишем.

Среди них было два офицера немецкого происхождения: подполковник фон Лемке и капитан Шмидт.

Фон Лемке, чистейший образец брахицефала, лысый, с крошечной носюркой, с подрезанными усиками, был всегда подавлен и раздражен; как все военные, он никак не мог привыкнуть к штатской одежде и поэтому носил не пиджак, а визитку: она хоть кое-как напоминала ему мундир.

Он был напуган вдвойне: в России как офицер, во Франции как немец. От французов он старался скрыть свое прусское происхождение, и хоть они в этом не разбирались, и никто его не спрашивал, он сам, ни с того, ни с сего, объявлял, что его предки – не пруссаки, а эльзасцы.

Шмидт говорил по-русски с немецкими интонациями; рослый и сухой, мрачный и сердитый, он вслух мечтал свергнуть новое правительство, перевешать и перерезать всех «красных».

– Я проберусь в Россию через Финляндию, и оттуда начнется мое победное шествие. Я отомщу за государя императора. Но мне нужен образованный человек.

И вот однажды, с высоты своего величия, он благосклонно предложил мне пост его личного секретаря. Я буду его правой рукой, кто знает, даже министром.

Я включил эту чепуху в число прочих нелепостей моей жизни.

А пока Шмидт уныло напевал нескладные вирши:

Из Севильи иду в Гренаду.
Девки мне надо!⁸⁰

Или возмущался жалобами мадам Дени:

– Подумаешь, она плачется, что в Нанси погибла ее мебель! Немцы бомбардировали ее Нанси?! Да когда мы наступали в Галиции, мы жгли, разбивали все, камня на камне не оставляли! Вот как надо воевать!

* * *

После Революции отец Спасский решил бросить свое ремесло.

В петлицу он продел георгиевскую ленточку (по его словам, он был награжден за храбрость.)

Он проникал в политические собрания, обсуждал злободневные события, метал громы и молнии против большевиков, против революционеров и, конечно, больше всего против евреев. Он особенно

смаковал слово «погром». Он подкапывался не только против «левых» и «красных», но даже под своих коллег – русских священников в Париже.

Однажды редакция русской «левой» газеты получила следующее письмо:

«Все, что написал вам обо мне отец Спасский в своем анонимном письме, все – неправда дьявольская. Не верьте ему. Он – известный сплетник, ябедник, доносчик, клеветник.

о. Феодор Стефановский
Русская православная церковь. Улица Дарю, Париж XVI»⁸¹

* * *

Отец Спасский не отличался ученостью и не умел даже объясняться по-французски, но тем не менее принимал важный вид и производил сильное впечатление на царских офицеров и на женщин вроде Дарьи.

– Он принят в салоне генерала А., у самого графа Алексея Алексеевича⁸², – гордо рассказывала Дарья. – Да, отца Спасского там слушают и ценят.

Граф принимал у себя все избранное черносотенное общество в Париже.

– Большевиков надо сажать на кол! – свирепо заявляла Дарья.

– Да, по-казацьи! – подхватывал почтенный отец.

* * *

Последняя новость: отец Спасский пытался изнасиловать горничную Луизу.

* * *

Когда Америка вступила в войну, Франция мало-помалу стала рабыней Доллара. Париж наводнили американцы. В их руки перешли французские проститутки, продавщицы, машинистки.

В пансионе Мобер жила бедная француженка – провинциалка с темно-рыжими волосами и тонким профилем. Ее давно преданно любил юный француз, такой же провинциал и бедняк. Она его тоже любила. И вот в один прекрасный день она перешла в объятия кабаноподобного американского капитана: у него были доллары. Она поселилась в его комнате и уселась за табльдотом рядом с ним. Бедняк-француз получил отставку и выехал из пансиона.

Успех американцев был немедленно воспет в новой шансонетке. Жозеф включил ее в свой репертуар и стал исполнять с чистейшим американским акцентом:

Раз на улице де Петроград
Мериканец Вилли, парень-хват,

Встретил Бланш, и пылкая блондинка
Сразу вскрикнула: «Вот так мужчинка!»

Американец вошел в такую моду, что юный Жан Томá, сын владелицы магазина «Шведская королева», объявил, что его зовут Джон Томсон. Он стал встречаться исключительно с американцами, курил только американский табак и старался говорить на родном французском языке с американским произношением.

Однажды он заболел чесоткой, но гордо объяснил, что эта болезнь тоже пришла из Америки: ему пожал руку приехавший с фронта чесоточный американский офицер. Неделями Джон Томсон ходил в черных перчатках, страдальчески хмуря брови, стиснув зубы.

Тут Жозеф не преминул щегольнуть новой игрой слов: чесотка по-французски – gale, Уэльс – Galles, принц Уэльский – prince de Galles.

И вот на всю столовую Жозеф закричал:
– Эй, prince de Galles, принц Чесоткин!

* * *

Война кончилась как-то неожиданно. Парижане, казалось, не были рады. Скорее, ошарашены. Многие видели в перемирии новую хитрость бошей. И не доверяли ничему.

– Жозеф, когда же, наконец, будет заключен мир? Ведь эти переговоры тянутся без конца! А вдруг они прервутся? – спрашивала мадам Обье.

– Вы, женщины, тратите целых девять месяцев на штуку, которая полечит дипломатии, – гордо отвечал Жозеф, делая вид, что мирные переговоры зависят только от него.

– Боливия, Бразилия, Куба, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Перу, Уругвай представлены на мирной конференции! Наши представители сидят за одним столом с самим Клемансо! – твердил за табльдотом польщенный кубинец.

* * *

Четырехлетнее сидение в окопах обрекло миллионы тел на рабскую неподвижность. И вот, наконец, разряд: целые страны затанцевали. Из Америки в Европу ринулись фокстроты. И гробовая тишина бывшего тыла разразилась ликующей, трагической музыкой джаза, в которой воскресли удары корибантийской меди⁸³, заглушая отчаяние.

И, наконец, Париж, четыре года погруженный во мрак, Париж, обугленный мукой, засиял снова.

IX

Иногда в пансионе появлялся облаченный в ветхий сюртук, бородатый старец с пергаментно-восковым лицом. Казалось, большая часть жизни уже давно покинула его.

Это был учитель Трамбле. Он давал уроки французского языка сербам, жившим у Мобера.

Сам Трамбле слушал лекции в Школе высших религиозных знаний при Сорбонне.

Однажды он вступил там в спор с длинным мистиком, явным холостяком и неудачником.

– ...Вы, католики, не верите в Бога! Вы поклоняетесь только вашей деве Марии! Вы – мариавиты⁸⁴! – вопил он.

– Что вы, что вы!

– Да, да, вы – мариавиты, мариавиты!..

– Нет, нет, что вы! – восклицал католик со слезами на глазах, в смятении и ужасе.

Дело в том, что Трамбле когда-то сам был правоверным католиком, и вот в старости он почему-то стал вероотступником. Русские снобы переходили из православия в католичество. Трамбле перешел из католичества в православие.

– Я хожу в румынскую церковь, на улицу Жан де Бове⁸⁵, – говорил он. – Я изучил православную литургию. Я знаю слово *la jertva* (ла жертва)... Да, но в румынской церкви нет проповедей. Нет проповедей! – иступленно повторял он, словно возвещаая конец мира. – О, я страдаю!

Эти *nr* и *str* звучали трагически.

Да, бездельники и неудачники всегда находят развлечения, чтоб уверить себя самих, что занимаются великим делом.

* * *

Слишком занятый религиозными вопросами старик Трамбле оказался в пансионе чуть не единственным мужчиной, который не обращал внимания на Дарью.

Другое дело его коллега – учитель Гийо.

Это был не старый, но согбенный, изможденный человек со жгучими, меланхолическими глазами. Холостяк, он жил при матери.

На его долю выпало давать уроки французского языка Дарье.

Паладин грамматики, он никогда не имел дела с женщинами. Но этого книжного червя все-таки ослепила дарьяна красота и наряды. В русских женщинах ему, конечно, грезилась пресловутая «славянская душа». И даже в такой первобытной бабе, как Дарья, он видел воплощение страстей во вкусе Достоевского.

Гийо был так простодушен и робок, что ему и в голову не приходило овладеть Дарьей, хотя бы поцеловать ее. Он только почтительно любовался ею.

К тому же богатые наряды Дарьи напоминали ему, что он недостоин ее как бедняк.

Дипломированный выученик Школы Высших знаний⁸⁶, Гийо выпустил в свет свой труд в 316 страниц in octavo, под заглавием «Проблема артикля и ее разрешение во французском языке»⁸⁷.

Этот том, удостоенный награды Французским Институтом, Гийо с почтительной надписью преподнес Дарье, которая, конечно, понятия не имела даже о русской грамматике.

Частенько Дарья не являлась на уроки к Гийо, чтобы не терять драгоценного времени, то есть чтобы лишний раз переспать с халхалками. Она приходила только на следующий день, бесстыдно ухмыляясь, метала на него выразительные взгляды:

– Эх, ты, бедняга! Видишь, я здорово любила. Хорошо было! ну, да ты ничего в этом не смыслишь!..

* * *

Полковнику не везло.

Выехав из царской России, он надеялся скоро получить чин генерала.

И вот конец продвижению по службе, конец блестящим мундирам, да и самим офицерам. И ужасающие события в России!

Оставалось только искать утешения в семейной жизни. Но с такой женой, как Дарья, об этом не могло быть и речи. Своими постельными историями, провокациями, обманами, низостями Дарья была способна окончательно отравить ему жизнь.

Но к этим историям полковник становился все равнодушной: ведь ему пришлось бы подозревать всех мужчин, которые приближались к Дарье, а подозревать всех, это приблизительно не подозревать никого.

Однако у полковника уже давно была одна страсть: карты. Обреченный на безденежье в Шампани, он стал играть еще больше. Чтоб забыть об истреблении офицеров в России, он еще приналег на карты. А чтобы не думать о Дарье, весь отдался игре. Он вошел в такой азарт, что проиграл все деньги. Нечем было даже уплатить долги.

В этот грозный час Дарье пришлось воспользоваться своими поклонниками, включая бедного Гийо. Даже Гийо дал ей свои сбережения. И полковник кое-как уплатил долги.

* * *

Между тем Деникин призывал русских офицеров, живших во Франции, «спасать» под его начальством «святую Русь». А ведь эти офицеры уже давно стали наемниками. Надо было существовать.

– Значит, надо ехать в Россию, – робко сказала Дарье полковник. – Мне остается только поступить в «добровольческую» армию.

В горле у Дарьи закипело бешенство. Но делать было нечего. Наверно, впервые Дарья подчинилась. Она согласилась покинуть Париж, своих сербов, французов, португальцев, всю свою «коллекцию».

Накануне отъезда она получила следующее письмо:

«...В воображении я последую за вами даже в Россию, даже к Деникину, не сказав того, что мне хотелось бы сказать... Гийо».

Это письмо Дарья положила в книгу «Проблема артикля и ее решение» и повезла в числе других любовных посланий в Россию как трофей.

Х

Скоро события подтвердили многое из того, что я предвидел. В 1917 году то тут, то там уже разражались мелкие погромчики. Простодушные люди верили, что с еврейскими погромами покончено навсегда. Так вот, погромы разразились опять, да еще какие! С 1918 по 1921 год, в разгар гражданской войны, погромы превзошли события 1902 и 1905 годов. Евреи погибали сотнями тысяч от банд Петлюры, Деникина, Григорьева, Шкуро, Мамонтова, Слащова и Махно. В некоторых городах и местечках погромы длились месяцами. Каждый день! Киев! 18 правительств – 18 погромов. Теперь в моем воображении звенели уже не цимбалы латинских глаголов, а медные тазы, в которые иступленно били безоружные евреи, чтобы погромщики приняли этот звон за бряцание оружия и не ворвались, и не перерезали их. И погибали не только торговцы, ростовщики, спекулянты, богачи! Нет, погибал пролетариат! По сравнению с этим истреблением испанская инквизиция – только детская игра. Чтобы поведать в стихах об этой гибели, надо быть Дантом или Агриппой д'Обинье.

Да, дорогой ценой заплатили евреи за свое освобождение.

* * *

А в пансионе Мобер все шло по-прежнему. Опять вечер как вечер. Опять ужин.

Как всегда, часть подковообразного стола заняли студенты: мексиканцы, аргентинцы, чилийцы, парагвайцы, уругвайцы, бразильцы. Как всегда, в жужжание голосов уже ворвались гнусавые гортанные возгласы и дикие мычания.

Дальше послышалось шипение, и, казалось, застучал телеграф:

– Пани пшеихауа з Варшавы, проше пани?.. Так, пани, так, так, так... Пан Пшежидент Жечи Посполитой... среди неописуемого энтузиазму... Жидувка... повяшить...

Голосом, исходившим из живота, вновь прибывшая белогвардейская дама изрекала:

– Они загубили Россию!.. Это конец мира!.. Загробная жизнь?.. Еще бы! Да разве Я могу умереть?!.. Гольфстрим отошел от берегов России: это Бог покарал ее за большевизм! Бог отвернулся от народа-богоносца! Да, Пуришкевич⁸⁸ – дивная личность!..

– ...Женщина это сосуд для спермы, – глубокомысленно заметил недавно овдовевший француз-коммерсант.

– Из Севильи иду в Гренаду,
Девку мне надо,

– уныло пробурчал капитан Шмидт.

– Да, нет, вы не знаете России, – объявил соседу другой русский офицер, желчный, лысый, курносый коротышка. – Россия... это вот что: пьяный поп на пари жрет в сыром виде коровье влагалище.

В эту минуту послышалось нечто вроде пастушеской свирели: это заговорил серб – сын свиноторговца.

– Подумаешь, Керенский! Когда я учился в Петербурге, в Кавалерийской школе, ми вместе ходили к бледжьям... Опять эти забастовки?! Да как вы нэ разумэйтэ? Трámвай бáстует, мэтро бáстует, и скоро начнется забáстовка врэчей!!!

Тут на середину зала вышел другой серб – «Престолонаследник», прозванный так соотечественниками за свой величественный вид. Вытянув шею (ему мешал двойной подбородок и жирный живот), с высоты презрения он певуче воскликнул:

– У-у-у! Фрáнцузска культура! Чипка, пичка, парфеми и курчич!

Уже не отдельные лица, а некая огромная машина принялась извергать глупости. Казалось, целый зверинец сорвался с цепей.

Поляки бесились: русская белогвардейка угрожала им новым разделом Польши. Перуанец был в отчаянии, что не может пырнуть навахой чилийца. Баронесса, как всегда, ерзала, поворачивалась во все стороны, как заведенная машинка, хихикала, краснела и повторяла три известных ей испанских слова: «Buenas noches, Senor». Захлебываясь от удовольствия, Мобер, как всегда, «богохульствовал». Серб – сын свиноторговца с ужасом ждал «забастовки врэчей», а серб-«престолонаследник» одним ударом покончил со всей Францией.

Вдруг белогвардейская пророчица подошла к юноше, который не только не желал этой мужеподобной бабы, но даже не считал ее женщиной; она выпрямилась во весь рост и ни с того, ни с сего немолимо сказала ему нечто вроде:

Но я другому отдана
И буду век ему верна!

* * *

Вот и еще одним ужином меньше. Как всегда, головы жильцов кружились от вина и звенели от извержения последних глупостей.

В уголки гостиной уже забились обычные пары.

Не теряя времени, Жозеф принялся за обычное дело: искажая слоги, он разразился целым фейерверком непристойных слов.

Мадам Дени заиграла Дебюсси.

Слушая прекрасную музыку, розовый крикливый силач, американский лейтенант Минц (родители которого, выходцы из Минска, блестяще изучили на собственной шкуре все тонкости погромов), вынул из кармана бутылку и весело принялся хлестать коньяк. При этом он раскатисто хохотал, жевал резину, неумоимо болтал, а чувствительный к запаху коньяка жилец безнадежно долго чихал.

Но вот грянула новейшая послевоенная победная песенка «Мадлен – Победа», конечно, в исполнении Жозефа.

Жозеф торжественно повторил ее в новом, им самим сочиненном варианте:

Мадлен для нас не очень-то сурова.

Ласкай ее от грудок до колен!

Она смеется и на все готова.

О, Мадлен, о, Мадлен, о, Мадлен!

А Мадлен Дени пожирала Жозефа глазами, возбужденная, смущенная, счастливая, зная, что куплеты о Мадлен посвящены ей.

Наконец грянул фокстрот. Все пустились в пляс.

Вдруг... зловеющий протяжный вой. У многих мелькнула мысль: «Тревога! Цеппелины! В подвал! В подвал!»

«Ах, да!» Они улыбнулись. Ведь война кончилась. Это только пожар в Латинском квартале.

* * *

Между тем даже в Париж доносился далекий грохот крушения: грохот Революции, разбивающей старый мир. Весь мир раскололся надвое.

Казалось, что-то исключительно варварское, грозное бушует вдали и катится на латинский мир.

Сначала я по-прежнему уходил от действительности под сень прошлого и погружался в чтение стихов на одиннадцати языках и протоколов испанской инквизиции.

Но Революция существовала. Далеко, но существовала.

И становилось все трудней оставаться к ней равнодушным.

* * *

Мне стало стыдно, что я не там, в Революции. Ведь у меня были идеи и контр-идеи, а, чтобы действовать, надо иметь одну-единственную незыблемую идею.

Оттуда повеяло на меня небывалой свежестью.

Я затосковал по родному городу, белизна которого озарила мое детство.

Вдали от России русский язык зазвучал для меня с новой силой, особым диким громopodobным оркестром.

* * *

Все проходит, даже боль. Да, как сказал Блок,

Боль проходит понемногу,
Не на век она дана.
Есть конец мятежным стонам.⁸⁹

Время и пространство способствовали новой перемене.

За приливом наступил час отлива.

Мало-помалу я отрекся от цели, к которой стремился. Я бросился в противоположную сторону.

О, как изнурительны молчание и ненависть! Я жаждал преодолеть их во имя поэзии. Ведь невозможно жить только ненавистью. Я всячески старался примириться с моим прошлым, с моей родиной.

Казалось, я исчерпал свою муку, так и не выразив ее в слове.

* * *

Опрокинуть стены, которые воздвиг я сам!

Броситься навстречу целому миру, навстречу Революции!

Ведь эти годы я жил вне жизни! Надо в нее войти, какой бы она ни была. Быть с людьми!

Довольно одиночества! Довольно изгнания! Довольно самоистязаний!

Я больше не раб моей «навязчивой мысли»!

Обратно в русскую поэзию! Завоевать все, что я растерял за столько лет!

Порвать с Россией? Писать по-французски, как будто больше нет ни России, ни евреев? Да ведь это отказаться от всего прошлого, от моей юности, от целой половины моей жизни, от моей главной муки, от всего, что потрясло меня страшной всех бед!

Кое-что, конечно, умрет, но я выживу.

Наконец-то я смогу заговорить!

* * *

Преодолев то, что я счел «манией», примирившись с необходимостью писать по-русски, я стал почти счастлив, достиг такого состояния, что, казалось, был уже равнодушен ко всему остальному. Казалось, я излечился от душевной болезни.

Но я еще не забыл того полугодия, что я провел в царской России, по возвращении из Палестины, перед отъездом во Францию.

Ведь с тех пор меня мучили кошмары: возвращение в Россию (как в тюрьму) и невозможность оттуда выехать.

И все-таки меня неудержимо тянуло туда, в РСФСР. Да, вопреки всему, я тосковал по этой стране.

Теперь небытием казалась мне жизнь в Париже.

По иронии судьбы, именно теперь мне представилась возможность «войти во французскую жизнь», добиться «положения».

Я от этого отказался.

А между тем я был уже привязан к Франции.

Вырвать из почвы растение? Разве ему не больно? А ведь мне пришлось оторваться от почвы России, и вот теперь надо оторваться от почвы Франции!

* * *

Однажды в узком переулке близ Елисейских полей я внезапно остановился. В матовом сентябрьском воздухе, сквозь жалюзи, украдкой, мерными молекулами, пробивалась музыка. Это было только бразильское танго. Но, казалось, на мгновение музыка всего мира была заключена в одной-единственной комнате. Как человек, открывший себе вены, истекает кровью, мир медленно истекал музыкой. Но это было блаженство.

Музыка удерживала меня в последний раз, как любовница...

Но, словно по формуле Бодлера, я готов был предпочесть

Мучение концу и ад небытию.

Я покинул Париж и в теплушке, лежа на узкой доске, въехал в Советскую Россию.

XI

В этой книге я не буду говорить о моем первом пребывании в СССР: я ограничил себя тесными пределами пансиона Мобер...

Однажды в Москве, у входа в театр, я заметил: прямо на меня идет женщина в белой горностаевой шапке и каракулевой шубе. Овальное лицо, большие синие глаза.

В этот жестокий морозный день она появилась среди серых людей, как внезапное напоминание о юге. И – что еще странней! – этому воплощению юга великолепно соответствовали снега.

К моему удивлению, я узнал Дарью.

Я еще не успел сообразить, как жена царского полковника, ненавидевшая большевиков, осмелилась появиться в СССР. Она уже стремительно подходила.

За ней шел незнакомец-великан.

Она меня узнала и заговорила. Пока великан возился с шубами в раздевальне, она успела кокетливо улыбнуться милиционеру и

вкратце рассказать мне, что с ней произошло после отъезда из Парижа.

Из Константинополя полковник, по приказу начальства, поехал в Одессу. Дарья – к своей матери, на Кубань. Прибыв в Одессу к белым, как раз за несколько дней до занятия города Красной армией, полковник не успел бежать и был расстрелян. (Дарья сообщила мне об этом с полным равнодушием.)

– Я вышла замуж. Я здесь с мужем. Он член партии, – объявила она с обычным апломбом.

Я остолбенел. Дарья и коммунизм? Дарья – жена партийца?

По ее просьбе, я подошел к ней в антракте. Она представила меня мужу, грузному и кроткому, как слон.

Она жадно принялась расспрашивать меня о Париже. Но антракт кончился, и мы распрощались.

По одной из тех острых случайностей, которыми так богата повседневная жизнь, герой пьесы в ходе спектакля, тоскуя по Парижу, говорит своему наперснику:

– «Ах, Валентин, Валентин! Если бы вы знали, какие ночи бывают в Париже!

– Наверное, очень теплые, господин барон?

– Нет, Валентин, жаркие, неистовые, сумасшедшие!»

При этих словах Дарья, зная, где я сижу, оглянулась и взглянула на меня с лукавой улыбкой...

* * *

Через несколько месяцев я увидел Дарью опять.

В качестве жены партийца она сочла нужным держать в руках советский журнал и делала вид, что читает.

– ...Ну, вы недостаточно марксист! – с упреком объявила мне та самая Дарья, которая в Париже мечтала посадить большевиков на кол.

Вскоре обнаружилось, что ее супруг не состоит в партии: Дарья и на этот раз соврала.

* * *

В Москве я уже задыхался от тирании предшественников РАППа, от злобного православия старой загнивающей интеллигенции, от расцветшего с новой силой общественного антисемитизма. Особенно ненавидели меня так называемые «крестьянские поэты» – погромщики, которые считались тогда революционными писателями и состояли даже редакторами. Моих стихов не печатали. Я был опять обречен на молчание. Не раз мне казалось: это чудовищный сон.

Вдали от Франции всегда любимый мною французский язык звучал во мне особым небывалым очарованием. Во мне накопились

залежи французских слов и стремились прорваться наружу, разразиться музыкой.

Охваченный жаждой освобождения и новой страстью к французскому языку, к латинскому миру, я опять поехал в Париж.

О, высказаться на французском языке! Если не в стихах, то хоть в прозе. Надо все начинать с начала.

Между Россией и Францией. Между Россией и евреями. Между Россией, Францией и евреями. Раздвоение, растрояние. Да ведь это четвертование, это медленная казнь!

Озирис изрублен на куски. Но он воскресает.

Изрубленный в куски срастается, как червь,
Чтоб только ринуться и продолжать работу!

* * *

Однажды, по возвращении в Париж, я зашел в советское полпредство. В приемной вдруг... (я глазам своим не поверил)... я увидел... отца Спасского во плоти.

Он был принят раньше меня крупным работником полпредства.

Скоро я встретил отца Спасского в редакции парижской советской газеты, в советском банке и в советском торгпредстве.

В редакции советской газеты, ораторствуя среди студентов Парижского университета, бывших белогвардейцев, он воскликнул:

– Попы! Черносотенцы!

При этих словах я на него взглянул («Да сам ты кто?» – мог бы я спросить).

Он метнул на меня злобный взгляд. И с умилением заговорил о русской автокефальной церкви в Чехословакии. (Слово «автокефальной» он произнес медовым голосом.)

Это было в эпоху разделения церковью на «живую» и «мертвую». Отец Спасский стал сторонником «живой» и неумолимо строил козни против сторонников «мертвой».

Он стал советским гражданином, по примеру своего покровителя графа Алексея Алексеевича и других бывших погромщиков. («Что вы хотите? Жить надо!»)

Отец Спасский трудился теперь в советском банке. По слухам, он заведовал там... карандашами.

* * *

Я давно забыл о пансионе Мобер, но однажды, когда я рассеянно выходил из подземелья метро, вдруг кто-то меня окликнул. Я оглянулся. Никого. Только старый нищий, сгорбленный, седой, бородатый, с грустным взглядом и горькой улыбкой. Он смотрел на меня, как на ангела, возникшего из недр земли. Я остановился, остолбенев. Откуда он меня знает?

– Вы меня не узнаете? – слабым голосом спросил он.

– Мосье Мобер! – воскликнул я, узнав его наконец по движению губ.

– Да, мосье, да, это я! У меня больше нет пансиона. Я промотал все свое состояние. Я болел. Я чуть не умер. О, я много грешил! – прибавил он не без пафоса. – А теперь я молюсь во всех церквах, во всех храмах и даже... в синагогах.

Вдруг он вынул католические четки, поднес их к губам и, со слезами на глазах, протянул мне.

Я не понимал, в чем дело.

– Мосье, доставьте мне удовольствие, примите от меня этот дар...

– Благодарю вас, – смущенно ответил я, – благодарю, но, право, они вам нужней, чем мне.

Он опять грустно поднес их к губам.

Казалось, за эти годы он стал меньше ростом. Куда делись его шикарные, черные закрученные усы?

Бывший жуир, бывший буржуа стал нищим. Бывший богохульник – церковником.

Так вот каков последний сюрприз пансиона Мобер!

* * *

Писать по-французски для людей всех стран! Иначе я буду погребен живо! Теперь это была уже не мания, а действительность, необходимость, неизбежность. Ради этого я проходил сквозь строй унижений и лишений, пролетарий в столице мировых богатств. Ради этого я голодал, скитался по мелким гостиницам. Не раз у меня не было даже крова.

Из сочетания этих лишений и воспоминаний о путешествиях возникли мои стихи:

Жизнь выступает из орбит.
 Вдруг, днем, сраженный пулей сна,
 Я падаю. По мне скорбит
 Тюремная стена.
 Зияла полная южная клоака.
 Наш захудалый порт мертвецки спал.
 Стояли дали пепельного мрака,
 Когда я, как подкошенный, упал.
 Я гробовел, лишенный даже гроба,
 Сон против сна и против яда яд.
 Я только спал посмертным сном до гроба,
 Я только был сам из себя изъят.⁹⁰

* * *

Но все больше я проникался французским языком и находил в нем новое очарование, новые откровения. Ценой многих усилий я

овладел им настолько, что уже писал по-французски лирическую прозу и перевел в стихах на французский найденных мною испанских и португальских поэтов, преследуемых инквизицией.

Мои работы появились в одиннадцати французских журналах, которые читаются во всех странах.

Я гордился своим участием во французский и общелатинской культуре. Значит, я не погиб.

Изрубленный в куски срастается, как червь,
Чтоб только ринуться и продолжать работу.

Но достигнув, до некоторой степени, желанной цели, я все больше чувствовал, что и это меня не удовлетворяет. Чего-то мне не доставало. В глубине души я не хотел окончательно оторваться от родины, от Революции.

Среди жестокостей мира денег я еще больше чувствовал себя пролетарием. Я никак не мог забыть СССР, я не мог забыть русскую поэзию.

* * *

Часто мне снилось южное море и скалы сверхъестественной белизны. Блаженство! Во сне я верил: это Коктебель. Но наяву такого сияния не бывает.

Часто мне снилась утыканная осколками стекла огромная серая стена тюрьмы Санте. Казалось, она достигает неба. Я задыхаюсь. И вдруг над ней открывается кусок вольного неба. Над всем рабством моей жизни – просвет.

* * *

Я чувствовал себя отверженным, отрешенным. В этом существовании было нечто предсмертное, то, что прозвучало в переведенных мною стихах Верлена:

Я всего натерпелся, поверь!
Как затравленный, загнанный зверь,
Рыскать в поисках крова и мира
Больше я, наконец, не могу
И один, задыхаясь, бегу
Под ударами целого мира.

Зависть, Ненависть, Деньги, Нужда,
Неотступных ищек вражда,
Окружает, теснит меня; стерла
Дни и месяцы, дни и года
Эта мука. Обед мой – беда,
Ужин – ужас. И сыт я по горло.

Но средь ужаса гулких лесов
Вот и Гончая злей этих псов.

Это Смерть. – О, проклятая сука!
 Я смертельно устал, и на грудь
 Смерть мне лапу кладет, – не вздохнуть,
 Смерть грызет меня, – смертная мука.

И терзаясь, шатаюсь в бреду,
 Окровавленный, еле бреду
 К целомудренной чаше и влаге.
 Так спасите от псов, от людей,
 Дайте мне умереть поскорей,
 Волки, братья, родные бродяги!

* * *

Казалось, я не вынесу новой разлуки с Францией. (Страшной всего было для меня выйти из сферы французского языка.) И все-таки я это вынес. Но не спрашивайте, как!

Я вернулся в СССР. И вот я опять в Москве.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ От «giboulée» (*франц.*) – свойственные парижскому климату короткие весенние сильные ливни, иногда со снегом и градом.

² С полной уверенностью идентифицировать «пансион Мобер» или его хозяина невозможно. Есть в Латинском квартале целый район, именуемый Мобер (Maubert), по легенде, обязанный своим названием имени (d'Aubert) мясника, жившего здесь в XII веке по соседству с монастырем Св. Женевьевы. И по сей день существуют площадь и тупик Мобер, не говоря уже о станции метро «Maubert-Mutualite». Единственным пансионом здесь в свое время был «Hotel Besse», занимавший два дома (№2 и 4) в тупике Мобер. Видимо, его и описывает В.Парнах. Подтверждением этой догадки служит и то обстоятельство, что из текста воспоминаний явствует, что пансион находился в Латинском квартале, в непосредственной близости от бульвара Сен-Жермен.

Не следует исключать и той вероятности, что образ хозяина пансиона собирательный. Возможно, Парнах, фотографически точный в большинстве деталей, сознательно не указывает ни настоящего названия пансиона, ни подлинной фамилии хозяина именно по той причине, что во время их написания определенно знал, что тот еще жив. Описание их неожиданной встречи много лет спустя также вошло в воспоминания, и это относит и дату завершения работы над текстом далеко вперед – от 1923–1924, скорее всего, к 1931, когда Парнах вернулся в Москву. Если же предположить крайне маловероятное совпадение названия района и фамилии хозяина пансиона, то можно указать на следующее: некий Эрнест Мобэр держал ресторан (Restaurant de la Tête de bœuf) по адресу: 23, avenue du Pont-de-Flandre (см.: *Didot-Bottin. Annuaire du Commerce. 1915. Paris. Administrations liste*

alppabetique des noms et raison Sociale. Paris, 1915. Prefecture de Police. Direction Surte de Territorial. (Registre pour etrangers).

³ Департамент в центральной Франции.

⁴ «Посмотри! Магомет!.. Послушай, Галал!.. Египет... Один... что... араб... море... да... суп...» (*арабск.*).

⁵ Испанское непристойное восклицание.

⁶ Спокойной ночи, сеньор! (*исп.*)

⁷ В июле – сентябре 1915 немецкие и австрийские войска предприняли контрнаступление в Литве и Польше.

⁸ По-видимому, имеется в виду то, что Греция, Португалия и США все еще не вступили в войну.

⁹ Ср. у О.Мандельштама: «Старик, похожий на Верлена, теперь твоя пора!» (стихотворение «Старик», 1913).

¹⁰ Имеется в виду изд.: Promenades dans le vieux Paris par P.-L.Jacob, bibliophile. Paris: Desfo, 1837. 348 p.

¹¹ Париж был осажден норманнами в 885–886 гг.

¹² Ростов-на-Дону.

¹³ Полный текст стихотворения не сохранился.

¹⁴ Скорее всего, имеются в виду российские университеты, прием в которые лиц иудейского вероисповедания был строго ограничен различными процентными нормами.

¹⁵ В статье «О современном лиризме» (Аполлон. 1909. №1-3) И.Анненский сказал о Блоке: «Это, в полном смысле слова и без малейшей иронии, – краса подрастающей поэзии, что краса! – ее очарование» (цит. по: *Анненский И.* Книги отражений. Л., 1979. С.361).

¹⁶ Из стихотворения В.Парнаха «Полнос» (1917), опубл.: *Парнах В.* Вступление к танцам. М., 1925. С.8. (Тираж 1000 экз.)

¹⁷ В марте 1911 приказчик кирпичного завода в Киеве Мендель Бейлис был обвинен в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского. Защитниками на процессе, состоявшемся в Киеве, выступали адвокаты О.О.Грузенберг, Д.Н.Григорович-Барский, Н.П.Карабчиевский, В.А.Маклаков и А.С.Зарудный.

¹⁸ При Николае II евреям легче не стало: в 1903 произошел двухдневный погром в Кишиневе (48 жертв), а в 1905 была запущена столь эффективная, с точки зрения антисемитов, фальшивка как «Протоколы сионских мудрецов». В том же году Союзом русского народа было инспирировано более 700 погромов. Вторая волна погромов накрыла Россию в 1911–1913 в связи с инсценированным властями «делом Бейлиса». Всего в 1881–1914 от рук погромщиков погибло около 2000 евреев.

¹⁹ Процесс по делу Бейлиса проходил с 25 сентября по 28 октября 1913 и завершился оправдательным приговором.

²⁰ Этрусский и римский городок к северу от Флоренции. Со ступенек раскопанного в 1809 Римского театра (I в. до н. э.) открывается прекрасный вид на холмистый тосканский пейзаж.

²¹ Из стихотворения «Vœu» из первой книги П.Верлена «Poèmes saturniens» (1866; раздел «Mélancolie»).

²² Судебное дело о шпионаже в пользу Германии офицера французского Генерального штаба Альфреда Дрейфуса (1859–1935), еврея по национальности. Сфабрикованное военными, это дело было использовано для разжигания антисемитизма в стране. В защиту Дрейфуса выступила демократическая интеллигенция (в частности, Э.Золя написал свое знаменитое письмо «Я обвиняю!»). Осужденный тем не менее в 1894 к пожизненной каторге, Дрейфус в 1899 был помилован президентом Франции, а в 1906, после признания истинного виновника (графа Эстергази), – полностью реабилитирован.

²³ Слегка искаженный фрагмент русского перевода стихотворения Г.Гейне («Nun ist es Zeit daß ich mit Verstand...») (Довольно! Пора мне забыть этот вздор...) из цикла «Снова на родине». Перевод был выполнен А.К.Толстым по просьбе И.А.Гончарова для пятой части его романа «Обрыв».

²⁴ Из стихотворения А.Блока «Из хрустального тумана...» (1909).

²⁵ Бялик Хаим-Нахман (1873–1934) – еврейский поэт и прозаик, писавший в основном на иврите. Родился на Волыни; в 1920 уехал из России в Западную Европу и Палестину. Его стихи и поэмы об исторических судьбах евреев, в частности о погромах и об угнетении, проникнуты национальным пафосом. В 1922 в Берлине (совместно с И.Равницким) выпустил четырехтомник «Еврейские легенды». На русском языке его произведения опубликованы в переводе В.Жаботинского («Песни и поэмы», СПб., 1914).

²⁶ Жерар де Нерваль (Nerval; наст. фамилия Labrunie; 1808–1855) – французский поэт, близкий романтизму. Его поздние стихи, наряду со стихами Гюго и Бодлера, подготовили переворот во французской лирике. В 1850 выпустил двухтомник «Сцены из восточной жизни» («Scènes de la vie orientale»); третье издание вышло в 1851 под названием «Путешествие на Восток» («Voyage en Orient»), над его переводом работал В.Парнах (см. в предисловии). Покончил жизнь самоубийством.

²⁷ Букв.: «Мы стремимся в ясные города Азии» (лат.) – стих 6 из стихотворения XLVI Катуллы. Любопытно, что тот же стих выделил в статье «Слово и культура» (1921) и О.Мандельштам.

²⁸ Полное название «Русский народный союз имени Михаила Архангела» – черносотенная организация, возникшая в начале 1908 в результате выхода из откровенно антисемитского Союза русского народа (создан в 1905) ряда черносотенных деятелей во главе с не менее ярким антисемитом В.М.Пуришкевичем. С точки зрения программы, ничем не отличался от Союза русского народа: незывлемость самодержавия, господство православия, помещичье земледелие, шовинизм, борьба с революционным и либеральным движением. Основным органом была избираемая на съездах Главная палата из 14 членов; местные отделения имелись в Москве, Киеве, Одессе и др. Распущен с падением самодержавия в 1917.

²⁹ Полтавское сражение состоялось 27 июня 1709.

³⁰ Из стихотворения В.Парнаха «Счастье» (1922), опубл.: Вступление к танцам. С.78.

³¹ Город в Ливане на месте финикийского и греческого городов, известен развалинами храмов Зевса и Бахуса.

³² Антиливан – горная цепь в Сирии и Ливане.

³³ Первая мировая война началась с австро-венгерского нападения на Сербию.

³⁴ Из стихотворения А.Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней...» (1844).

³⁵ Город в Турции (современное название – Измир).

³⁶ «Пойдемте немедленно» (*итал.*).

³⁷ Бакенбарды были характерной деталью внешности генерала М.Д.Скобелева (1843–1882) – участника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканах и одного из завоевателей Средней Азии.

³⁸ Вероятно, имеется в виду Сергей Городецкий.

³⁹ *Иванов Г.* Памятник славы: Стихотворения. Пг.: Лукоморье, 1915.

⁴⁰ Запись в дневнике А.Блока от 17 октября 1911. См.: *Блок А.А.* Дневник. М., 1989. С.66.

⁴¹ О депортациях из прифронтовой полосы во время Первой мировой войны еврейского населения, которое ложно обвинялось в помощи противнику, см.: *Полян П.М.* Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ, 2001. С.26-29.

⁴² Стихотворение В.Парнаха «Высланные. 1914–1917» (1919), опубл.: Вступление к танцам. С.36.

⁴³ Лютостанский Ипполит Иосифович (1835–1915) – бывший ксендз, перешедший в православие, иеромонах, автор антисемитских «богословских» брошюр, например: «О еврейском мессии: Современный вопрос» (М., 1875), «Жидовский праздник “пурим шпиль”» (СПб., б/даты), «Об употреблении евреями христианской крови для религиозных целей» (СПб., 1880).

⁴⁴ Из стихотворения В.Парнаха «Полюс» (1918), опубл.: Вступление к танцам. С.8.

⁴⁵ Цитату из стихотворения А.Шенье «Ямбы» Парнах приводит в собственном переводе.

⁴⁶ Недаром даже уже Тютчев сравнивал наших ученых с дикарями, «кои бросаются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением». – *Примеч. В.Парнаха.* (Точная цитата из «Дневника» М.П.Погодина за 17 сентября 1825; см.: Пушкин и его современники. Вып.19-20. Пг., 1914).

⁴⁷ Из письма к Н.Н.Пушкиной от 18 мая 1836, см.: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. Т.16: Переписка 1835–1837. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С.117-118. У Пушкина: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!».

⁴⁸ Цитата по памяти из «Дневника» М.П.Погодина за 20–25 июня 1825. У Погодина: «В России канцелярия и казарма. – Все движется около кнута и чина» (цит. по: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн.1. СПб., 1888. С.310).

⁴⁹ Из стихотворения Тютчева «Итак, опять увиделся я с вами...» (1849).

⁵⁰ Перевод В.Парнаха из «Tristia» Овидия. Буквально: «Это измышлено мне в наказанье».

⁵¹ «Россия должна быть разрушена!» (*лат.*) – парафраз из Катона Старшего (234–149 до н. э.), сказавшего так о Карфагене.

⁵² Студенческая библиотека на площади Пантеона.

⁵³ Знаменитая опера Дж. Пуччини (1858–1924), написанная в 1886 по либретто А. Мюрге.

⁵⁴ Один из знаменитых цирков Парижа.

⁵⁵ Первые налеты были в марте 1915. Свидетелем налета 22 марта оказался М. Волошин, о чем он написал стихотворение (см.: *Купченко В.* Парижские адреса Максимилиана Волошина. // *Русская мысль* (Париж). 1997. №4192, 9–15 октября. С.11). В 1918 при бомбардировках Парижа погибло более 500 человек.

⁵⁶ Имеется в виду Николай Николаевич Романов-младший (1856–1929) – великий князь, генерал от кавалерии, Верховный главнокомандующий в 1914–1915, затем Главнокомандующий войсками Кавказского фронта в 1915–1917. При отречении Николая II 2(15) марта 1917 назначен Верховным главнокомандующим, но под давлением Советов и Временного правительства был вынужден отказаться от этой должности. Эмигрировал из Крыма в марте 1919 в Италию, а затем во Францию. Среди белой эмиграции считался претендентом на российский престол.

⁵⁷ Жорж Клемансо (Clemenceau; 1841–1929) – французский политик, член кабинета в ряде французских правительств. В годы Первой мировой войны – в оппозиции, его статьи в журнале «L’Homme libre» привели к отставке министров-пораженцев Мальви и Кайо. Председательствовал на мирной конференции 1919 года.

⁵⁸ Луи-Жан Мальви (Malvy; 1875–1949) – адвокат и политик, радикал-социалист. Был арестован и осужден Верховным судом в связи с делом сатирической газеты «Le Bonnet rouge», по которому в 1913 был заключен в тюрьму журналист и политик М. Альмерейда (M. Almereyda).

⁵⁹ Жозеф Кайо (Caillot; 1863–1944) – французский адвокат и политик, радикал-социалист, министр в ряде кабинетов, в том числе министр финансов в кабинете Клемансо в 1906–1909. Был «германофилом», в годы войны выступал за переговоры с Германией, за что был осужден Верховным судом.

⁶⁰ Греческое по происхождению слово, обозначающее, с несколько ксенофобским оттенком, особый статус иностранца.

⁶¹ Ставшая нарицательной фамилия героини юмористических стихов Ивана Мятлева под заглавием «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л’этранже».

⁶² Крепость и военный гарнизон в Дагестане, расположенные близ места, где Шамиль сдался русским войскам.

⁶³ Жан (в рукописи ошибочно: Жак) Ришпен (Jean Richepin; 1849–1926) – французский поэт, автор знаменитой «Песенки оборванца» («La chanson des Gueux»). В 1908 был избран во Французскую академию.

⁶⁴ Стихотворение Парнаха «Избыток горечи вверг меня в сон...» (1915), опубл.: *Парнах В.* Самум. Париж, 1919. С.77.

⁶⁵ «Мое сердце черно, подобно колоннам Соломонова храма» (исп.).

⁶⁶ Песнь песней: 7,8.

⁶⁷ Серафимы (в переводе с еврейского – «огненные», «пламенеющие») – в иудаистической и христианской мифологии шестикрылые ангелы, особо приближенные к престолу Бога и его прославляющие.

⁶⁸ Кнеф – греческое имя демиурга, которого египтяне называли Хнум. На магических геммах гностиков часто изображался в виде протянутой змеи с головой льва или птицы.

⁶⁹ Серапис (Сарапис) – бог столицы Египта Александрии, один из богов эллинистического мира, культ которого был введен основателем династии Птолемеев в Египте Птолемеем I Сотером (правил в 305–283 гг. до н. э.). В его образе и имени соединены популярные египетские боги Осирис и Апис. Почитание нового божества, введенного специально для сближения египетского и греческого населения Египта, распространилось преимущественно в греко-римской среде.

⁷⁰ Из стихотворения В.Парнаха (1919).

⁷¹ Животные-кораллы.

⁷² Из стихотворения Дж. Леопарди «Infinito» («Бесконечность»; на русский язык переводилось В.Ивановым и А.Ахматовой).

⁷³ Морское царство.

⁷⁴ По-видимому, имеется в виду православная церковь на рю Дарю.

⁷⁵ Извольский Александр Петрович (1856–1919) – русский дипломат, министр иностранных дел (1906–1910) и посол России во Франции (1910–1917).

⁷⁶ Полицейские (от «Schutzman» (нем.) – буквально: защитник).

⁷⁷ С самого начала войны, заставшей Р.Роллана в Швейцарии, он выступал как яркий антивоенный публицист. Его антивоенные статьи собраны и опубликованы в виде книг: «Au-dessus de la mêlée» / «Над схваткой» (1915) и «Les précurseurs» / «Предтечи» (1919).

⁷⁸ Из неопубликованного стихотворения В.Парнаха.

⁷⁹ Из неустановленного стихотворения В.Парнаха.

⁸⁰ Парафраз текста «Серенады Донжуана» П.И.Чайковского на слова А.К.Толстого («От Севильи до Гранады...»).

⁸¹ В «Списке священно-церковно-служителей св. Александро-Невского Храма, впоследствии Кафедрального Собора, в городе Париже» о. Ф.Стефановский не значится (сообщено Н.А.Струве). В описываемое время в храме служили: настоятелем – протопресвитер И.А.Смирнов, вторым священником – протоиерей Н.Н.Сахаров, протодьякон Н.М.Тихомиров, псаломщики М.М.Фирсов, М.Леонович и Н.П.Афонский. Интересно, что в качестве третьего священника в 1924–1934 в храме служил протоиерей Г.А.Спасский (см.: Александро-Невский Собор в Париже. 1861–1961. Париж, 1961. С.51-53).

⁸² Алексей Алексеевич Игнатъев (1877–1954) – русский и советский дипломат, военный атташе в скандинавских странах, в 1908–1917 – во Франции. После 1917 – на стороне революции, помог сохранить в банках Франции 225 млн. рублей золотом. Автор книги «Пятьдесят лет в строю» (1947).

⁸³ От «корибантов» – в греческой мифологии спутников и служителей Великой матери богов Реи-Кибелы. По одному из мифов – дети Аполлона и музы Талии.

⁸⁴ Т. е. поклоняющиеся деве Марии.

⁸⁵ Расположена недалеко от площади Мобер (9, rue Jean de Beauvais). Здание церкви – памятник готической архитектуры – построено в конце XIV в. Изначально – Часовня Св. Иоанна-Евангелиста; позднее входила в комплекс знаменитого Коллеж Бове. Как румынский православный храм существует с начала XX в.

⁸⁶ Ecole des Hautes Etudes. Тогда входила в состав Сорбонны.

⁸⁷ См.: *Guillaume G. Le probleme de l'article (et sa solution dans la langue française)*. Paris: Librairie A.-G.Nizet, 1919. Автор этого труда Густав Гийо со временем стал знаменитым филологом; после выхода этой книги опубликовал еще 8 работ по лингвистике; его личности и его вкладу в науку посвящен целый ряд публикаций. Указанная книга была переиздана в 1975 в Квебеке с предисловием Роже Валэна (Roche Valin).

⁸⁸ Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – русский политический деятель, монархист, черносотенец. Один из основателей Союза русского народа (1905), а после его раскола – Союза Михаила Архангела (1908). Депутат Государственной думы 2–4-го созывов, где выступал с погромно-антисемитскими речами. В годы Первой мировой войны требовал «сильной власти» для доведения войны «до победного конца». Непосредственный участник убийства Г.Е.Распутина в 1916. После Февральской революции 1917 года выступал за восстановление монархии. В октябре 1917 возглавил контрреволюционный заговор в Петрограде. Осужден советским судом в январе 1918, но 1 мая амнистирован. Уехал на юг, сотрудничал с белыми, издавал в Ростове-на-Дону реакционную газету «Благовест». Умер от тифа.

⁸⁹ Из стихотворения А.Блока «Последнее напутствие» (1914).

⁹⁰ Из неустановленного стихотворения В.Парнаха.